
ИЛ
Библиотека журнала «Иностранная литература»
Анна Зегерс
Неизвестные страницы



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Anna Seghers

Анна Зегерс

Неизвестные страницы

Повести. Рассказы. Эссе

Перевод с немецкого

Составление и предисловие
Т. Мотылевой

Москва
«Известия»
1987

И (Нем)
347

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент И. Щербакова

Обложка художника А. Панина

О жизни и смерти, о страданиях и борьбе

С творчеством Анны Зегерс наши читатели знакомы довольно хорошо, но не исчерпывающе. В том, что ею написано, осталось немало интересных страниц, не переведенных на русский язык. Мы публикуем здесь часть этих страниц — столько, сколько смогла вместить эта небольшая книжка.

Анна Зегерс известна у нас преимущественно как автор широкоформатных, густонаселенных повествований, которые, будучи взяты вместе, представляют уникальную художественную летопись судеб Германии на протяжении почти полувека: «Спасение», «Седьмой крест», «Транзит», «Мертвые остаются молодыми», «Решение», «Доверие». Но она в течение всей жизни работала и в области малой прозы, в разных жанрах — от небольшой повести до рассказа-миниатюры, очерка, зарисовки. Здесь представлена малая проза Зегерс: повести, рассказы, эссе разных периодов, начиная с самой ранней ее вещи — «Мертвецы с острова Дьяль».

В начале двадцатых годов будущая писательница (ее настоящее имя — Нетти Рейлинг), дочь антиквара из прирейнского города Майнца, студентка Гейдельбергского университета, одновременно с занятиями историей, искусствознанием, синологией понемногу пробовала свои силы в литературном творчестве, посылала маленькие рассказы в газету «Франкфуртер цайтунг». А впоследствии, став одним из известнейших немецких прозаиков своего времени, напрочь забыла, какой именно из этих рассказов был напечатан. Она помнила только, что он был написан по голландским мотивам и что именно оттуда берет начало ее литературный псевдоним. Несколько лет назад исследователи (одновременно в ГДР и в ФРГ), роясь в старых подшивках франкфуртской газеты, разыскали этот первый

рассказ, опубликованный в 1924 году и носивший подзаголовок «Голландская легенда, пересказанная Антье Зегерс».

Интерес к Голландии у начинающей писательницы был не случаен. Ее отец был серьезным знатоком нидерландской живописи, и сама она, готовясь к защите диссертации, внимательно изучала творчество Рембрандта и его эпоху. В эту эпоху, кстати сказать, жили и герои ее первого рассказа, капитан Мортен Зизе и пастор Ян Зегерс, вернувшиеся на землю после смерти. Возвращение мертвеца на землю — традиционный мотив романтической литературы; сюжет ранней вещи Анны Зегерс явно книжного происхождения. Но интерес автора к теме смерти тоже не случаен. В своем последующем творчестве Анна Зегерс много раз обращалась к этой теме — ее всегда живо занимали вопросы, связанные с первоосновами бытия: рождение и смерть, смена поколений, суть и смысл жизни человека. В ее зрелом творческом сознании не раз возникала формула «мертвые остаются молодыми»: именно так хотела она назвать известный свой рассказ, который в окончательной редакции получил название «Прогулка мертвых девушек»,— заголовок «Мертвые остаются молодыми» она приберегла для большого романа. А в одном из ее «Карибских рассказов», где идет речь об освободительной борьбе негров, эта же формула повторяется в слегка перефразированном виде: «Мертвый навсегда останется молодым». Так в названных произведениях Зегерс мотив бессмертия, преодоления смерти материалистически переосмыслен: человек — и в особенности борец за свободу — живет после смерти в своих делах, в памяти потомков и единомышленников.

Герои рассказа «Мертвецы с острова Дьяль» отнюдь не молоды и ни в какой освободительной борьбе, разумеется, не участвовали. Но их желание жить после смерти — не праздное, не зряшное. Они хотят продолжать то, что считают делом своей жизни: капитан — плавать по морям, пастор — давать умирающим морякам последнее утешение.

«Каждому выпадает на веку ровно столько чудес, сколько он способен вместить»,— говорит пастор Зегерс. Романистка Анна Зегерс — мастер точного, трезвого, реалистического письма. Но ее издавна влекло в мир чудес. Сказочные, легендарные формы художественного обобщения вовсе ей не чужды: исследователи давно раскрыли в основных ее романах, в отдельных ассоциациях, образных сравнениях и даже в самой их структуре, приближающейся к притче, элементы фольклорной поэтики.

Иной раз читатели, знакомые и с романами Зегерс, и с ее поздними фантастическими рассказами, например, такими, как «Сказания о неземных пришельцах», где речь идет об инопланетянах, явившихся на землю, представляют себе дело так, будто писательница всю жизнь создавала строго достоверные повествования о реальных событиях и людях, а на склоне лет ее неожиданно потянуло на фантастику. Рассказ «Мертвецы с острова Дьяль» решительно опровергает такой взгляд: смелая работа художественного воображения была для Зегерс не завершающим этапом ее писательской деятельности, а скорей исходной точкой.

В ее письме ко мне от 3 июля 1973 года есть такие строки:

«Посылаю Вам сегодня новую книжечку, «Странные встречи». Возможно, что предстоит немало странного. Друзья рассказывали мне (не только Ваши земляки, но и мои, и люди из разных других стран), что «неземные» вызвали некоторую растерянность — наши читатели, мол, не привыкли к такого рода Анне.

Но ведь я раз в несколько лет — не только теперь — пишу истории в сказочном или легендарном роде...»

И далее она упоминает, в частности, «Прекраснейшую легенду о разбойнике Войноке».

Этот рассказ-сказка датируется в ее собрании сочинений 1936 годом, с указанием, что он был впервые опубликован в 1938 году (в Москве, в антифашистском литературном журнале «Дас ворт»). Однако в рукописных автобиографических заметках Зегерс имеется важное сви-

детельство: ее фантастические «маленькие работы», созданные в эмиграции, были задуманы гораздо раньше, чем написаны. «Эти сказания мне так давно «известны», что я уже не помню, как они возникли. Например, этого разбойника Войнока я написала еще лет на десять раньше и потеряла его».

Лет на десять — это, быть может, и не надо понимать буквально. Но примечательно, что Анна Зегерс написала своего «Войнока», возможно, лишь в виде первоначального наброска еще до эмиграции, до установления фашистской диктатуры. Молодая писательница, которая в 1928 году вступила в коммунистическую партию и все более интенсивно втягивалась в общественную жизнь, чутко различала под покровом стабильной, благополучной действительности Веймарской республики симптомы надвигавшегося кризиса. Как художник, она воспринимала эти симптомы не столько в экономическом или политическом, сколько в моральном плане. Об этом свидетельствовал один из ее ранних очерков «Что мы знаем о юношеских шайках?», там говорилось о росте преступности, о тревожных признаках одичания немецкой молодежи. В ранней публицистике Анны Зегерс несколько раз ставилась острая проблема: юноши, угнетенные жалкими буднями, нуждой, бездуховностью окружающей среды, безработицей или угрозой безработицы, легко поддаются соблазнам жестоких приключений.

В этом контексте понятно, как мог возникнуть в творческом воображении Зегерс разбойник Войнок — безрассудно дерзкий, своевольный, живущий по законам волчьей морали. Действие тут происходит в некоей условной стране, в гористой лесистой местности, быть может, где-то на Балканах. Названия рек и гор вымышлены, черты характера героя — и его дерзость, и его злость — заострены до невероятной степени. Заложенная в сюжете «сказка в сказке» — о девушке, полюбившей волка и родившей волчонка,— символически соотносит Войнока с диким зверем. Молодой разбойник не хочет примыкать ни к какому сообществу, даже преступному; он пытается истребить

шайку Грушека, недавно еще спасшую ему жизнь, чтобы в одиночку властвовать над лесом и соседними селениями, в одиночку грабить церкви и монастыри. Бесшабашная удаль Войнока придает ему некое зловещее обаяние — но в конечном счете оборачивается подлостью, вероломством.

Войнок посрамлен в конце концов и самой своей смертью: разбойники из шайки Грушека считают, что он недостоин быть преданным земле, и ограничиваются тем, что засыпают его труп снегом.

В фантастической истории, рассказанной Анной Зегерс, было вполне реальное и, можно сказать, даже остро политическое содержание: в ней развенчивался идеал аморальной «сильной личности», который насаждался в Германии идеологами реакции. Понятно, что в годы антифашистской эмиграции писательница захотела вернуться к давно оставленному ею сказочному сюжету, написала «Войнока» заново и опубликовала его.

Но еще гораздо раньше, задолго до гитлеровского переворота, в 1927 году, появилась на страницах «Франкфуртер цайтунг» повесть Зегерс «Грубеч», тематически родственная сказке о Войноке, но прочно укорененная в жизненных реалиях предфашистской Германии.

Как известно, Анна Зегерс в 1928 году была награждена крупной, престижной литературной премией имени Клейста за свою первую книгу, повесть «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре». Менее известно, что премия была ей присуждена не только за «Восстание рыбаков...», но и за «Грубеча». Писатель Ханс Хенни Янн, уполномоченный клейстовского жюри на 1928 год, представил обе эти вещи к награждению, мотивируя свое решение тем, что нашел у молодого автора «большую одаренность в области формы», а главное — «сияющее пламя человечности».

«Грубеч» — вещь необычайно мрачная по колориту: в ней изображены беспросветно тяжкая жизнь, безнадежно несчастные люди. Действие происходит на самом «дне» речного порта, в квартале, где ютятся чернорабочие, люм-

пены, безработные. Это — сигнал о неблагополучии, быть может, наиболее пронзительный, какой прозвучал когда-либо в новейшей немецкой литературе.

Писательница, выросшая в просвещенной бюргерской семье, решительно вышла здесь за пределы собственного классового опыта, отважно обратилась к типам и среде, совершенно ей чуждым. И все же повесть оставляет впечатление достоверности. Не зря юная Нетти Рейлинг заглядывала в отдаленные закоулки, а быть может, и в трущобы бедняков в районе Майнцкого порта. Она писала в 1973 году одному из немецких критиков, что сама видела «обедневших и неприкаянных людей в иных кварталах на набережной Рейна». Еще раньше, в июне 1961-го, она ответила на вопрос читательницы: «Действие «Грубеча» происходит у реки (Рейна?), в среде, которая, видимо, вызывала у меня беспокойство еще в юные годы. Тогда я, наверное, особенно живо чувствовала, что многим людям, даже когда они унижены и заброшены или ко всему равнодушны и бездумны, хочется чего-то яркого, чего-то не похожего на однообразную обстановку их жизни. Пусть это будет что-то хорошее или плохое — лишь бы было непохожее».

И в самом деле: тоска по «чему-то яркому», гнетущий голод, иногда даже не столь физический, сколь духовный, жажда перемен — все эти чувства по-разному проявляются у персонажей повести, будь то безработные парни, которые без толку валяются на мостовой, будь то хрупкий подросток Анна, которая так легко, бездумно дает себя совратить, бросается навстречу собственной гибели.

Грубеч сродни Войноку. В нем есть своего рода дикая удаль: он каждое лето гонит плоты по Рейну, он многое повидал — для жителей портовых трущоб он как бы олицетворяет вольную жизнь. Но и он втайне страдает от беспредметной тоски и кидается в тупой разгул, как в омут, попутно неся несчастье и дружкам-собутыльникам, и случайным любовницам.

«Грубеч», как и сказка о Войноке, как бы предваряет

некоторые существенные мотивы последующего антифашистского творчества Анны Зегерс: здесь ведется глубинное исследование социально-психологической природы зла, тех затаенных пружин человеческой психики, которые сделали многих трудящихся немцев легкой добычей для гитлеровских крысоловов.

Вместе с тем «сияющее пламя человечности», в высокой степени присущее, по верному суждению Х. Х. Янна, таланту Анны Зегерс, побуждало ее с первых лет писательской деятельности искать доброе в человеке. Через ее произведения разных лет проходит мысль о том, что стихийные чувства солидарности, доброжелательства, собственного достоинства, свойственные многим трудящимся людям, в конечном счете выводят их на путь борьбы за социальную справедливость. Эта идея выражена силою образов в ее первой большой повести, «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре». Она выражена и в рассказе «По дороге к американскому посольству», который Анна Зегерс написала вслед за этой повестью, на исходе двадцатых годов.

В 1927 году мировое общественное мнение было потрясено судебной расправой в США над двумя революционными рабочими итальянской национальности, Николой Сакко и Бартоломео Ванцетти: они были казнены на электрическом стуле по ложному обвинению в убийстве. В связи с процессом и предстоявшей казнью обоих итальянцев в разных странах развернулось движение в их защиту, состоялось много митингов и демонстраций.

В рассказе Анны Зегерс описана одна из таких демонстраций. Место действия намеренно не уточнено: судя по некоторым деталям облика города, это может быть и Париж, и Берлин, но может быть и какая-либо другая европейская столица. Автора в данном случае интересует не историческая, фактическая сторона дела, а скорей душевное состояние участников шествия. Персонажи здесь — не люди революционного авангарда, а рядовые труженики, в сущности, даже далекие от политики: они примкну-

ли к демонстрации, движимые смутным чувством причастности, состраданием к тем, кому грозит гибель. Тут впервые намечена тема, важная для всего последующего творчества Зегерс: в гуще народа много людей, которых возможно и необходимо втянуть в борьбу во имя высоких целей человечества.

Рассказ экспериментален по своей художественной природе. В нем, как в кинофильме, чередуются общие и крупные планы. Обобщенно, суммарно передается сила массового шествия, которое не могут остановить ни полицейские кордоны, ни выстрелы. Но в центре внимания автора всего четыре человека — они остаются безымянными. Рассказчица попеременно перевоплощается то в одного, то в другого из них, воспроизводит их неслышные реплики, обрывки их мыслей. И лишь постепенно вырисовывается облик каждого из четырех.

Это прежде всего провинциал, впервые приехавший в столицу: условно он назван «приезжий»; к демонстрации он примкнул, в сущности, случайно, ему стало жалко этих парней — он понятия не имеет, что ему совсем скоро суждено погибнуть от полицейской пули... Рядом с ним женщина, вдова рабочего. Она даже и не знает, кто такие эти два итальянца и почему их собираются казнить. Но то немногое, что она слышит о судьбе обоих узников, подсознательно связывается у нее с собственной трудной жизнью, с ее покойным мужем и с детьми, требующими стольких забот. Третий в шеренге — угрюмый пожилой мужчина. Он горюет о судьбе сына-железнодорожника, погибшего при катастрофе, он зол на профсоюзных бюрократов и вообще на всех, кто стоит у власти, и готов идти с демонстрацией до конца, пусть даже это грозит ему потерей пенсии; неожиданно для себя он запевает революционную песню ясным и громким голосом... Четвертый — совсем юный паренек, озорной и бесстрашный; когда его волокут в полицейский участок, он ничуть не испуган, скорей даже радуется неожиданному приключению, которое поднимает его в собственных глазах.

Идеологи реакции много раз твердили и не перестают твердить, что причастность к массе принижает личность, обезличивает человека. Рассказ Анны Зегерс основан на глубоком убеждении в том, что участие в справедливой борьбе пробуждает в человеке лучшие силы, нравственно возвышает его. В этом смысле рассказ «По дороге к американскому посольству», написанный свыше полувека назад, остро современен: ведь и сегодня люди доброй воли в разных странах выходят на улицу или даже участвуют в многодневных походах во имя сохранения мира и других насущных социальных задач, и боевая сила масс втягивает все новых участников в подобные шествия. Мысль, очень дорогая Анне Зегерс, о том, что резервы освободительной борьбы народов неисчерпаемы и способны к непрерывному обновлению, подтверждается действительностью наших дней.

Маленькие эссе, завершающие наш сборник, написаны в течение последних десятилетий жизни писательницы. Здесь их отобрано лишь несколько, в изданиях ГДР их имеется значительно больше. Анна Зегерс любила писать короткие статьи-зарисовки о друзьях, единомышленниках, о героях антифашистского движения.

Иногда поводом к написанию такого эссе становился юбилей литературного собрата или выход его произведений: такова статья о Пабло Неруде. Но чаще это были статьи-очерки о тех, кого уже нет. Они, как правило, совсем не похожи на традиционные некрологи. О незнакомых или мало знакомых людях Анна Зегерс умела писать так, как будто знала их лично, очень давно и хорошо: именно так написаны очерки об Ольге Бенарио-Престес, о Гансе Баймлере. Об умерших она умела писать как о живых: эссе памяти «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша так и написано как обращение к живому Кишу, старому товарищу по эмиграции и по антифашистским литературным боям. В каждой из этих публицистических миниатюр живет и дышит чувство личной дружеской привязанности, оживают неповторимые черточки — возвышенные или

трогательные — в облике того, кого сегодня уже нет.

Анна Зегерс никогда не писала о себе. Она не оставила никаких автобиографических работ. Ее авторское «я» присутствует только в одном рассказе, «Прогулка мертвых девушек», и то, казалось бы, лишь для того, чтобы воскресить былых подруг или сотоварищей школьной юности, чьи жизненные пути сложились столь различно. Тем более важны для нас сегодня ее маленькие очерки-рассказы, написанные незадолго до смерти,— «Эйнштейн в МАРШ'е» и «Воспоминания о Филиппе Шеффере»: в каждом из них мы находим не только своеобычный, эскизно обрисованный портрет того, кому очерк посвящен, но и запечатленные попутно характерные подробности жизни самой писательницы в ее молодые годы.

Анна Зегерс рассказывает о том, как она уговорила Эйнштейна прочитать лекцию в Марксистской рабочей школе, которой руководил ее муж Л. Радвани (носивший партийный псевдоним Иоганн Лоренц Шмидт),— это само по себе любопытно. Очевидно, что этот ее визит к прославленному ученому способствовал укреплению его связей с немецкими коммунистами: в годы эмиграции И. Л. Шмидт наладил в Париже выпуск журнала «Свободные немецкие исследования» — Альберт Эйнштейн был в числе его первых авторов.

С очерком о Филиппе Шеффере у меня связано личное воспоминание. В декабре 1975 года я была в Берлине; меня пригласили на обед, который ПЕН-клуб ГДР устроил в ознаменование 75-летия со дня рождения Анны Зегерс. Мне сказали, что она согласилась приехать на этот обед только при условии, что там не будут произносить никаких речей. У нее был усталый вид, она посадила меня рядом с собой, но была неразговорчива. Однако она не забыла взять с собой из дому номер иллюстрированного журнала, где были только что напечатаны «Воспоминания о Филиппе Шеффере», и дала мне его со словами: «Прочтите, это вас заинтересует». Ей явно хотелось, чтобы читатели-друзья узнали и запомнили имя ее былого университетского то-

варища, антифашиста-подпольщика, одаренного востоковеда,— он, видимо, мог бы стать крупным ученым, если бы его жизнь не была рано обрублена топором гитлеровского палача. Филипп Шеффер для Анны Зегерс, а теперь и для нас — один из тех мертвых, которые навсегда останутся молодыми.

Т. Мотылева

Прекраснейшая легенда о разбойнике Войноке

Не снятся ли вам сны, дикие и нежные, ночью между двумя тяжкими днями? Не знаете ли вы, почему иной раз старая сказка, песенка, даже ритм песни без труда проникают в сердца, до которых мы никак не можем достучаться кулаками? Да, без труда доходит птичий щебет до глубин сердца, а тем самым и до корней поступков.

Разбойник Грушек, зимовавший со своей шайкой в долине Бормош, напал на след молодого разбойника Войнока, грабившего всегда в одиночку.

Люди Грушека всю зиму не зная устали рассказывали о Войноке, которого ни один из них собственными глазами не видел. Грушек полдня шел по следу, пока не заметил Войнока, сидевшего в лучах солнца на камне у второго по высоте водопада на горе Прутке. Войнок схватился было за ружье, но тут же узнал Грушека по всем приметам, по которым один разбойник узнает другого. Войнок спустился с камня и приветствовал Грушека как старшего. Сев на землю, лицом к лицу, они вместе съели свой хлеб.

Грушек пристально всматривался в Войнока. Войнок выглядел куда моложе, чем ему рассказывали, глаза Войнока были такие ясные, словно их голубоватую прозрачность никогда не затуманивала пелена хоть одного-единственного неисполненного желания. Грушек не нашел в этих глазах ничего, кроме отражения собственного заросшего щетиной, старого лица и тех горных вершин, тех облаков, что заглядывали ему через плечо.

— У меня сорок разбойников,— сказал Грушек,— это как раз подходящее число. Почему ты всегда грабишь в одиночку?

— Я всегда буду грабить в одиночку,— ответил Войнок.—

Однажды в Доброте я вместе со сбежавшим солдатом обделывал одно дельце. У солдата была девчонка. Сначала она стала бегать за мной, а потом предала одного из нас другому и нас обоих третьему. Тогда мне немало сил стоило уйти живым. Нет, я и девчонки больше никакой не хочу. Я хочу всегда грабить только в одиночку.

Грушек с удивлением уставился на Войнока. За свою долгую жизнь он научился оценивать слова, сказанные человеком, по звучащей в них искренности. Как бы иначе держал он так долго в руках шайку из сорока разбойников и ни предательство, ни раздор не повредили их славе? Войнок не только сегодня или завтра, а всегда будет держать свое слово. Грушек еще раз окинул Войнока проницательным взглядом. Множество мыслей пронеслось в его голове, что выдавал только хруст переплетенных пальцев. Войнок, услышав этот хруст, поднял голову. Но его взгляд тотчас устремился прочь от лица Грушека к коричневым клочьям дубрав в глубоких расселинах гор.

— Если тебе когда-нибудь что-то понадобится,— сказал Грушек,— еда или одежда, огонь или оружие,— приходи к нам; свой зимний лагерь мы разобьем у подножия Прутки, между верхним и нижним Волчьим ущельем, в расселине между двумя водопадами Парицки.

И они распрощались. Войнок вскарабкался назад на свой камень. Грушек стал осторожно спускаться вниз по склону. Теперь казалось, что его маленькое жилистое тело искривлено не от старости, а только для того, чтобы ему легче было пробираться в искривлениях горных склонов.

Войнок забыл Грушека, как только потерял его из виду. Он не думал больше о том, что сказал Грушек про зимний лагерь, он забыл об этом. Он пошел вверх по горе Прутке, мимо водопадов и дальше, к источникам на юго-восточной стороне горы, куда лето приходит раньше всего и где оно жарче всего. Здесь нет ни одной скалы; крутые луга граничат то с небесами, то с густым, почти черным высокоствольным лесом.

Внизу, в долине Парицки, видны хутора, и пасеки, и две

мельницы. Сейчас стояла такая тишина, что там, наверху, слышны были свистки паромщика, и шум мельниц, и звон сломанных пил и всех тех металлических штуковин, которые крестьяне развешивают на полях, чтобы отпугивать птиц.

Обо всем, что Войнок совершил в это лето, уже много раз рассказывали, и повторять это не нужно: как он перехитрил паромщика на реке Парицке, как он, переодетый, под видом гостя проник на свадьбу в дом богатого крестьянина на Марьеце Упра, как он поджег монастырь Св. Игнатия...

Мало-помалу остыло и это лето. Войнок отправился назад, туда, откуда пришел. Он слышал иной раз, как отбивают косы, но только когда ветер дул с Парицки. А дул он с Прутки, так слышен был только шум леса. Войнок отдыхал после всех тех тихих и ясных ночей, когда ему не спалось и он бродил вдоль и поперек по всей округе. Сначала он зарылся в листву, что скопилась на опушке, потом — в самом высокоствольном лесу. Вскоре зачастил дождь, но листва была еще теплой и сухой. Войнок сквозь сон, закопавшись до ушей в листву, прислушивался к шумам, потом опять все надолго стихло; по упорно неотступающим сумеркам Войнок понял, что пошел снег. И его одолел сон.

Войнок проснулся, когда вовсю затрещали ветки. Это разыгрался не обычный буран; он гнул высокоствольные деревья, точно камышинки. Зима наступила такая, какой Войноку, молодому еще человеку, пережить не доводилось. Даже в дремучем лесу невозможно было укрыться. Войноку пришлось следовать за вьюгой, как следовало за ней все, что лишено было корней,— но и деревья этой зимой вырывало с корнем, и они лишались корней.

Вьюга загнала Войнока, волчком вращавшегося на бегу, в западную часть Прутки, в скалы. Глотку и уши ему забил снег, и снег этот там застыл. Подтянув колени, Войнок сжался в комок, ощутил себя невесомым, словно надеясь, как листок, переждать буран. Но когда его бросило сильным порывом ветра, упал и пребольно ушибся. В секунду передышки он открыл глаза и увидел внизу, как раз под собой, долину, сверкающую огнями: город Доборот. Войнок испугал-

ся. Тут его опять подхватил буран, хотя он не достиг еще даже своей начальной силы. Теперь буран отогнал Войнока назад, к Парицке, а от Парицки обратно на Прутку. Вечером третьего дня Войнок обрел наконец твердую почву под ногами. Он укрылся в расселине скалы. У него был выбор — растянуться плашмя, чтобы принять смерть, и чем скорее, тем лучше, или, вращаясь волчком, лететь дальше; но это ему надоело.

Внезапно снежинки перед глазами Войнока засверкали красновато-золотистым блеском, будто они, слетая вниз, попадали в полосу яркого света — огня или пожара. Войнок знал, что на Прутке такого света не бывало и что только смерть может наколдовать подобные краски. Но он наперекор всему пополз в их сторону. И тут увидел внизу, в глубокой расселине между скалами, нависшими над Парицкой, огромный костер. Там, внизу, не потревоженный ни вьюгой, ни холодом, разбил зимний лагерь Грушек, в том самом месте, которое он весной достоверно описал Войноку.

Голос Войнока, сколь ни был слабым, тотчас услышали в лагере. То ли буря уже утихла, то ли разбойники Грушека всерьез ждали, что тот, о котором они без устали рассказывали, наконец-то обратится в реальный образ, то ли Грушек просто рассчитал направление ветра и силы Войнока и выставил на всякий случай посты... Теперь разбойники сбились в кучу и с любопытством уставились на Войнока. Часть пути Войнок сползал сам, но силы вдруг изменили ему. Он сел в снег. Грушек тотчас вскарабкался наверх и сел рядом с ним, лицом к лицу. А потом приказал снести Войнока вниз, в лагерь, дать ему выпить горячей плиски и лучшую свою собственную одежду снял с себя и приказал надеть на Войнока, а для себя принести другую, и еще он приказал принести мяса и всю оставшуюся плиску. И положить в костер столько дров, сколько они не сжигали и за месяц-другой. Войнок недвижно лежал на том самом месте, куда его положили. За его сомкнутыми веками все еще бушевала монотонная снежная вьюга. А когда он наконец открыл глаза, пламя костра взмывало вверх так высоко, как ему еще

не доводилось видеть. Грушек — приказы его были уже выполнены — наблюдал за Войноком, а тот не только сразу же опять закрыл глаза, но и все лицо прикрыл руками. Мысленно Войнок ощупал все свое тело, нет ли у него каких повреждений. Пошевелил пальцами рук и ног. И хотя ничего не обнаружил, продолжал выискивать хоть одно повреждение, оно же наверняка было где-то в его плоти, хотя он, Войнок, его еще не обнаружил. Когда же он все-таки открыл глаза, лицо Грушека, приблизившееся к его лицу почти на ширину ладони, заслоняло от него весь огромный лагерный костер. Грушек зажал меж колен свою мохнатую собачонку. Она вела себя беспокойно, потому что у разбойников началась гулянка. Беспрестанное жалобное «и-и-и-и», издаваемое гармошкой, перекрывало шум голосов. Внезапно Грушек выпустил собачонку, упер руки в бока и стал раскачиваться из стороны в сторону. Вид его привел Войнока в ужас, и от стыда он опустил глаза. Грушек издал резкий крик, словно его кольнули, высоко подпрыгнул и упал на колени. Разбойники завопили, бурно захлопали. Грушек высоко подскакивал вверх, словно возраст его — обман, его седые волосы — ложь, а разбой — его достоинство как главаря шайки. Разбойники были вне себя от радости, ведь Грушек вел себя при них естественно, и собачонка тоже выходила из себя. Взъерошив шерсть, она скалилась на своего словно подмененного хозяина. Все горланили так, что слышно было в Доброте, и жители города, замирая от страха, думали: так они, значит, близко, но буря и волки наши сторожа.

«Мне надо уходить отсюда,— думал в отчаянии Войнок,— но почему мне сразу уходить? Я же не к солдатам в руки попал, я же среди разбойников. Мне надо уходить, пока еще есть время. Но почему? Я же не в Доброте, а у Грушека в лагере».

Разбойники горланили, топали ногами. Внезапно Грушек рухнул наземь, словно перерезали его пружины. Выглядел он сейчас куда старше, чем прежде. Собачонка радостно жалась к его коленям. И разбойники тоже утихомирились. Та ли это жалобная гармошка, которая теперь всех

успокаивала, всех убаюкивала, кого раньше растревожила? Вскоре Войноку показалось, что он единственный, кто еще бодрствует у костра. Вот и представился удобный случай незаметно уйти.

«Давным-давно жила вместе со своей матерью в глухом черном лесу под Доборотом девчонка.

Каждую ночь, как только зажигался огонь, к ним под окна приходил волк...»

«Почему бы мне не послушать их песни? — думал Войнок.— Это же разбойничьи песни. Почему бы мне не полежать у их костра, это же костер разбойников. Почему бы мне не порадоваться вместе с ними, ведь это же радости разбойников».

«Мать сказала девчонке: бери в мужья охотника — у него есть ружье; бери в мужья торговца — у него есть ящики с яблоками, шнурками для ботинок и иконами. Бери в мужья угольщика — у него есть хижина, но волка в мужья брать тебе никак нельзя.

Миновал год, и кто же сидел в Ревеше у церковных дверей? Эта девчонка... А что завернула она в свой платок в красную и зеленую шашечку? Священник сказал девчонке: «Всяких детей можно крестить, но детей волка крестить нельзя».

Девчонка расплакалась и пошла обратно в черный лес под Доборотом».

Разбойники расхохотались. Но Войноку было не до смеха. По девчонкам из деревень он не горевал и горевать не будет, они ему не нужны, и они ему нужны не будут. Но по этой девчонке он горюет. Такая была она светлокудрая, бледная и ходила мелкими шажками, опустив глаза. Такая была она смуглая и дерзкая, и так громко шлепали по спине ее косы.

Она была такой, какой желаешь девчонку, но ее-то вовсе не было — разве это не горестно?

Теперь разбойники разошлись вовсю. Песни их звучали

звонко и чисто, как орган в монастыре Св. Игнатия в то утро троицына дня, когда Войнок впервые смешался с прихожанами, чтобы все до точности разведать, прежде чем поджечь монастырь. Никогда не желал он чего-то, чего нельзя было бы получить грабежом — силой или храбростью, переодевшись паломником или сунув в дверную щель ногу и тут же — ружейный ствол. Никогда не знал он страданий, которых нельзя было бы вырезать из плоти, или выжечь, или попросту стряхнуть с себя, как вшей. Но сейчас, за те несколько минут у костра, он ощутил радость — не от грабежа, и страдание — его нельзя было выжечь, ибо его вовсе не было. Войнок держался очень прямо, дабы скрыть от неотрывного взгляда Грушека, как он несчастен. Да разве мог Грушек предположить, что тот же самый лагерный костер, который всем им давал счастье, по какому-то тайному, даже от него скрытому закону, соприкоснувшись с Войноком, породит горесть? Грушек и позже полагал, что Войнок потому только скрючился, что его в конце концов сморил сон.

Внезапно Войнок поднялся и сказал:

— А теперь я пойду.

Грушек не показал своего разочарования. Он подарил Войноку одежду из меха и кожи, какую надел на него, когда тот пришел к ним. Он приказал зажарить для Войнока несколько кусков мяса и дал Войноку все, что могло бы ему хоть как-то пригодиться. Войнок поблагодарил и распрощался. И точно так же, как при его появлении в лагере, разбойники, сбившись в кучу, с любопытством глядели вслед Войноку — как удаляется он от лагеря, как выбирается из ущелья в смертельное одиночество онемевшей тем временем, тем временем оледеневшей Прутки.

Едва Войнок оставил позади расселину между водопадами Парицки, как тут же позабыл все, что узнал в лагере. Он не думал больше о Грушеке и его зимнем лагере, он забыл Грушека.

Но уйдя от Грушека, Войнок, видимо, слишком долго держался западного склона нижней скалы над Парицкой.

Из-за этого с ним приключилось следующее: внезапно склоны вокруг него засверкали желтыми огоньками глаз. Войнок попал в Волчье ущелье. Он знал, что волки ничего не заглатывают целиком, как медведи и рыси, а прежде раздирают добычу на куски. И хоть необычайно жадны, но ничего не могут ухватить разом и ничего — проглотить разом. И Войнок стал сбрасывать с себя одежду, что была на нем, все добротные вещи из меха и кожи, одну за другой, благодаря чему ему открылся выход из ущелья.

Зима стояла длинная и суровая, но Войноку вторая ее половина не показалась такой уж суровой. Время таяния снега он провел в лесу под Марьякоем, а потом перебрался к верхним водопадам Кирушки. Осенью и весной их грохот слышен даже в Ревеше. А их тонкая золотистая водяная пыль заполняет не только всю долину реки Кирушки, но до самого лета, испаряясь, переносится через горы Прутки. Войнок двигался вдоль горного хребта, оставляя позади себя долину Кирушки. Некоторые поселки были все еще так близко, что он иной раз слышал удары топора. Однако внизу, под собой, он вскоре уже ничего, кроме лесов, не видел, лесов столь густых и непроходимых, что вершины их составили единую зеленую равнину, на которую лишь облака бросали тень. Были дни такие туманные, что леса словно растворялись в небесах. А иной раз, в ясные дни, Войнок видел между небом и границей леса узкий зигзагообразный, ему вовсе не знакомый горный хребет. Этой весной Войнок не предпринял ничего, чтобы сохранить силы для нового дела: пробиться сквозь непроходимые леса до горного хребта, где наверняка были монастыри и деревни, мосты и мельницы.

Однажды ночью Войнок, сидевший в кроне дерева, проснулся. Он не понимал, что могло его разбудить. Он перелез на другую развилину ветвей, но его тотчас снова что-то разбудило. Где-то под ним кто-то царапал ствол дерева и повизгивал. Войнок только крепче обхватил ветви. В этих лесах ему неизвестен был зверь, который бы так

жалко повизгивал. Поэтому он еще раз нагнулся. Ощетинившийся крошечный зверек внизу никого ему не напомнил, если вообще на самом деле могло существовать что-то столь жалкое. И если это был сон, так тоже назойливый и жалкий. Войнок продолжал спать и теперь видел во сне, будто собачонка Грушека с такой быстротой носится вокруг дерева, что глаза ее описывают светящиеся круги. Но внезапно собачонка, скуля, умчалась прочь и исчезла. Теперь Войнок уснул глубоким сном. Но собачонка вновь объявилась, она ползла на животе, помогая себе передними лапами, и ворчала. А потом, прыгая вверх, стала брать штурмом дерево. Это рассмешило Войнока во сне. Он еще не успел понять, что неистовые прыжки собачонки не ослабевают, а, наоборот, с каждым разом становятся все выше, как почувствовал ее зубы на своей ноге.

Теперь Войнок окончательно проснулся и спустился вниз. Собачонка Грушека принесла привязанное к шее послание: Грушек со своими людьми расположился за лесом под Марьякоем, в одной из боковых, узких, словно ущелье, долин, примыкающих к долине Кирушки. Солдаты из Марьякоя, Ревеша и Доборота заняли выход из долины. Грушеку грозила гибель, если ему не поможет Войнок, так же как Войноку зимой грозила гибель, если бы Грушек ему не помог.

Войнок прогнал собаку, бросив в нее горсть желудей. А сам влез обратно на свою развилину. Зачем вообще прислал ему Грушек это послание? Зачем нужно ему, Войноку, знать, что Грушек сейчас гибнет? Грушек никогда нисколько не мешал ему, Войноку, ни в одном его деле, правда, совершенно иного, чем у Грушека, рода, так что Войнок не чувствовал теперь ни удовлетворения, ни облегчения. Грушек гибнет, так же как он, Войнок, часто близок был к тому, чтобы погибнуть, и, возможно, уже завтра погибнет. Странным только показалось Войноку, что Грушек напоминает ему при этом о его житье в зимнем лагере. С таким же успехом могли бы напомнить ему волки на

скалах Парицки, что он вовремя покинул их ущелье. Войноку хотелось, чтобы поскорее настал день, не слишком сырой, не слишком туманный день, чтобы он мог как следует рассмотреть зигзаги незнакомого ему горного хребта за лесами. Он собирался в этот, может, уже в следующую минуту начинающийся день не только оставить далеко позади себя горный склон, но и углубиться далеко в лес. Однако Войнок в глубине души смутно сознавал, что отнюдь не поступит по своему желанию, а как только начнется день, пойдет за собачонкой Грушека, в противоположную сторону.

Войнок, говорят, освободил шайку Грушека, пустив в долину собачонку с привязанным к хвосту фитилем. Солдаты потом рассказывали в Ревеше, Доброте и Марьякое, будто целая стая огненнохвостых чертенят прилетела на помощь к разбойникам. Это событие подробнейше описано во многих историях и песнях. Для нас важнее разговор, который вел Грушек с Войноком, когда они вечером того же дня сидели на земле лицом к лицу, чуть в стороне от других.

Грушек сказал:

— На всем свете не сыщешь такой шайки, как моя,— нет ничего, что мы не могли бы совершить.

Он внезапно замолчал, словно ждал, что теперь выскажется Войнок. Но Войнок сидел недвижно и продолжал смотреть Грушеку в лицо. Грушеку глаза Войнока все еще казались ясными и прозрачными. И опять он не нашел в них ничего, кроме отражения собственного лица.

Грушек, стало быть, продолжал:

— Солдаты наверняка вернутся с подкреплением. Я уже стар, вот в чем загвоздка. Не согласишься ли ты возглавить шайку вместо меня?

— Нет,— ответил Войнок.

Грушек не выказал своего разочарования. Он отдал все необходимые распоряжения, дабы чествовать Войнока. На этот раз Войноку не нужно было прятать лица. Быть может, оттого, что костер разожгли небольшой, летний, быть может, оттого, что его здесь уже ничего не поражало, он сидел, чувствуя на себе неотрывный взгляд Грушека, сидел очень

прямо и недвижно. И только тогда лег, когда Грушек сам, кряхтя, растянулся рядом с ним. Празднество, поначалу такое бурное, внезапно словно бы потухло вместе с огнем костра, осталось лишь протяжное «и-и-и-и» гармошки и тлеющая зола, которую каждый раз сохраняли для следующего вечера.

Войнок думал, что Грушек давно спит, но Грушек достаточно знал людей и понимал, что подчас не нужно подарков, чтобы чего-то от них добиться. Не нужно увозить прекраснейшую дочь богатого крестьянина с Марьеце Упра; не нужно звать девушек-цыганок из Доборота, не нужно даже чего-то обещать людям, а угрозы и вовсе излишни. Жалобное «и-и-и-и» гармошки может загубить человеческое сердце, если его заранее должным образом предрасположить. Грушек вдруг сказал:

— Войнок, если я сейчас сам тебя попрошу, так выведешь ты нас хотя бы из долины Кирушки?

Войнок выждал минуту, скрывая свое удивление, что Грушек все еще не спит. А потом ответил:

— Я поведу вас над водопадами Кирушки в направлении на Прет.

Войнок выполнял указания Грушека без отклонений, но и без раболепия, так, словно шайка Грушека наконец-то дала ему удобный случай осуществить в больших масштабах свои собственные планы. Во время похода по долине Кирушки над водопадами Войнок с разбойниками Грушека напал на богатую деревню, в которой как раз праздновали день св. Штефана. Разбойники без труда одолели пьяных крестьян. А вечером того дня, когда монахи звонили в колокола в честь их святого заступника, разбойники напали и на горный монастырь Св. Штефана. Они сожгли его дотла. Ночью монахи перебрались на другую сторону горы и там, над Ревешем, еще до восхода солнца основали новый монастырь Св. Штефана, заложив в фундамент ларец с железным наконечником стрелы, который их настоятель успел спасти.

В деревнях от Прета до Доборота распространилась весть, что Войнок вступил в шайку Грушека. У крестьянских детей стекленели глаза, когда они по ночам слышали или им казалось, что они слышат, как в горах, на том или ином сожженном хуторе горланят разбойники. В те ночи совсем на иной лад, чем обычно, обнимали крестьяне своих жен.

Когда наступил период дождей, Войнок увел шайку далеко в западные леса долины Кирушки. Как шумел раньше дождь, когда Войнок зарывался в листву, единственный живой человек в лесу между Ревешем и Доборотом! И что был за дождь в эту осень, когда достаточно оказалось песен разбойников и старческого хриплого дыхания Грушека, чтобы свести на нет его шум?

Однажды вечером Войнок увидел в воздухе несколько снежинок. Они тотчас стали прозрачными и распались. Войнок огляделся вокруг, словно теперь окружавшие его лица станут прозрачными и распадутся. При этом взгляд его наткнулся на лицо Грушека, которое, как всегда, было точно обращено к его лицу и выражало напряженное упорство, не ослабляемое притворным доверием.

Грушек в этот вечер впервые заметил, что взгляд Войнока теперь не такой ясный, а мрачный, как все другие взгляды, из-за несбывшихся или даже несбыточных желаний. Грушеку очень хотелось бы знать эти его желания. Войнока же в эту минуту занимала одна-единственная мысль. Он спрашивал себя, какие меры принял Грушек, чтобы оборонить себя и своих людей от него, Войнока.

Когда зима подошла к концу,— а она подошла к концу, когда Войнок еще ждал суровых морозов,— шайка, по предложению Грушека, вполне совпадавшему с желаниями Войнока, вернулась на восточный берег Кирушки. Разбойники разбили лагерь в том месте, которое выбрал в прошлую весну Войнок, когда его учуяла собачонка Грушека. Точно птичье гнездо прилепился лагерь к крутому горному склону.

Человеческим глазом не измерить было даль протянувшихся лесов, а они тем сильнее чернели, чем сильнее

синели летние небеса. Если и правда зигзаги за лесами — это новый горный хребет, а не гряда облаков, думал Войнок, так там все должно резко отличаться от того, что было здесь. Ночью, когда разбойники спали, Войнок ушел из лагеря, чтобы наконец-то выполнить свой давнишний замысел. Он спустился вниз по отвесному склону горы и попытался в одиночку пробраться в лес. Аромат леса и мрак одурманили его. Каждое движение Войнока, казалось, множится до бесконечности, и лес, словно бы встрепенувшись, сомкнулся над щепкой, посмевшей вторгнуться в него. Войнок взобрался на дерево, чтобы проверить избранное направление, едва отойдя от склона. Бесконечность леса он осилил столь же мало, сколь и бесконечность усыпанного звездами неба. Но совсем близко, в двух шагах от него, горел костерик в лагере на склоне.

В эту ночь Войнок не стал пробираться глубже в лес, а вернулся в лагерь Грушека. Грушек был очень доволен, когда Войнок на следующий день приказал снимать лагерь. Настало время наиважнейших дел.

Между тем Войнок принял решение — начисто уничтожить шайку Грушека, как уничтожают что-то, чего и во сне никогда больше не хотят видеть. О чем даже никогда вспоминать не хотят.

Войнок повел шайку резкими зигзагами по долине реки Кирушки и по Прутке. Они оставляли за собой сожженные деревни, ограбленные процессии паломников, испепеленные хутора. В конце концов Войнок привел шайку отдыхать и разбирать добычу в западную часть Прутки, на место прошлогоднего зимнего лагеря между верхним и нижним Волчьим ущельем, в расселину между скалами Парицки.

Теперь расселина была до уровня человеческого роста заполнена теплой, сухой дубовой листвой. Разбойники зарылись в нее и уснули.

Войнок протянул по листве фитиль, забаррикадировал выход из расселины, а фитиль поджег. Сам же пошел дальше — за несколько часов оставил далеко за собой Прутку. Он не думал больше о Грушеке и его шайке, он

забыл их. На выступе скалы за горой Сестер, с которой спадают водопады Кирушки — период дождей еще не начался и водопады еще не громыхали, а плескались,— Войнок улегся спать. Он проснулся от какого-то повизгивания. Захотел отогнать того, кто его обнюхивал, и не смог шевельнуть рукой. Он открыл глаза и увидел собачонку Грушека. Сам Грушек, глядя на связанного Войнока сверху вниз, смеясь, сказал:

— Вот ты прожил уже почти целый год среди нас, Войнок, но все еще не понял, что такое шайка. Ты поджег листву в расселине Парицки, но я приказал разбойникам взобраться друг другу на плечи. Нижние ступени этой лестницы, правда, обуглились, но большинство наших, убедись в этом сам, таким способом спаслось.

Через горы Прутки Грушек приказал нести связанного Войнока рядом с собой. Собачонка прыгала вокруг Войнока, ворча и повизгивая то ли из жалостливости, то ли от радости встречи, Грушек продолжал поучать своего пленного:

— Лестницу эту надобно было, конечно же, соорудить очень быстро. Но моя старая голова оставалась ясной, я все до точности обдумал, кого поставлю нижней ступенькой, кого — средней, кого — верхней, а кому прикажу прежде всего лезть наверх. Дорогой мой Войнок, как тебе известно, частенько дюжие парни из деревень на Прутке и в долине Кирушки приходили к нашему костру. На коленях молили они, чтоб я разрешил им изучить у нас разбойничье ремесло. Надежные, сильные парни, одно удовольствие на них смотреть. Но больше сорока в шайке быть не должно — нельзя преступать определенных границ. Втайне я часто жалел, что не могу попросту заменить того или иного из моих людей, кто уже измотался и без кого можно обойтись. Но эти свои мысли я никогда не обнародовал, нет, конечно же, ведь давать надо только четкие распоряжения, когда они необходимы,— пустые желания и несозревшие планы следует держать про себя. На этот счет, Войнок, мы с тобой всегда были одного мнения.

Но вчера, когда твой фитиль пробил брешь в моей шайке, я опять невольно вспомнил об этих здоровых, энергичных деревенских парнях. Теперь в моей власти было передвинуть брешь туда, где давно требовалось обновление. Как видишь, Войнок, ты скорее принес нам пользу, чем вред.

Между тем Грушек и его люди с пленником добрались до нижнего Волчьего ущелья. Туда перенесла шайка свой лагерь. Ведь в ущелье это волки сбегались только после снегопада.

Грушек велел развязать Войнока. Он начертил на земле маленький крест и предложил Войноку встать на него. А потом приказал разбойникам зарядить ружья и сомкнуться кольцом вокруг Войнока.

Весь год, что провел Войнок среди разбойников, они о нем не думали. Можно сказать, они о нем забыли. Но сейчас, по прошествии времени, наконец-то между Войноком и разбойниками вновь было некоторое расстояние, расстояние между его грудью и дулами их ружей. Он опять был Войноком прежних дней, который в лучшем случае один-единственный раз подойдет к их лагерю в суровейшую зиму, на след которого иной раз наткнешься или только полагаешь, что наткнулся. Выстрелят ли все-таки разбойники по приказанию Грушека? Но Грушек стрелять не приказывал. Он протиснулся в круг, встал перед Войноком и объявил:

— Пошел к черту, Войнок, убирайся! И даже во сне не помысли хоть когда-нибудь встретиться на нашем пути! Никогда в жизни не появляйся больше у нас!

Войнок с той минуты, как проснулся связанный на горе Сестер, не сказал еще ни единого слова. Он и сейчас ничего не ответил. Глаза его были ясными и прозрачными. Он молча вышел из круга, который за его спиной тотчас распался. И сразу же покинул Волчье ущелье. Он не думал больше о Грушеке и его шайке, он забыл Грушека. Два-три разбойника подбежали к краю ущелья, но след Войнока уже занесло непрерывным сильнейшим листопадом в осенних горах Прутки.

С этого дня началось новое время, никто никогда не считал, что оно будет возможным. Оно и до того было невозможным и потом никогда больше не было возможным. Длилось оно чуть дольше года. За этот год мир, ошибочно считавшийся тесным, расширился до бесконечности, Прутка отодвинулась куда-то вдаль, и освободилось место для Войнока и для Грушека.

Кто бы в этом году мог утверждать, что один из них уступает другому? Если в этом году кто-то и правда отдавал предпочтение Войноку, так это позволяло не о Войноке судить, а о том человеке, который это мнение высказал.

Никогда еще в деревнях так много не рассказывали о Войноке и Грушеке; Грушек, однако, после всего случившегося запретил своим людям даже упоминать имя Войнока. Все понимали — это самое малое, чего вправе был требовать Грушек.

Следующую зиму шайка провела в расселине, которую обнаружили в скале за горой Сестер. Высланная стража услышала от какого-то угольщика, что Войнок будто бы погиб. И даже не очень далеко отсюда, всего в двух-трех часах ходьбы, и даже не очень давно, а всего-то вчера. Смерть его была жалкой. Охотники из Доборота пришли в деревню на Прутке с капканами нового типа, не известными никому. Войнок попал ногой в один из таких капканов. Всю ночь просидел Войнок с защемленной ногой и окоченел от холода. Только тогда крестьяне осмелились приблизиться к нему и забили его палками до смерти. Поначалу рассказать об этой новости язык чесался у стражи, а потом и у всех разбойников. Они не могли удержаться, чтобы не нарушить обет повиновения и молчания. Грушек понял по их лицам и по их перешептыванию, что́ произошло. И сделал именно то, чего ждали от него разбойники. Он сел к ним на землю, в отчаянии стал ломать руки, так что только хруст раздавался, громко рыдал и оплакивал Войнока. И все вместе с ним оплакивали Войнока, ощущая от этого мучительное облегчение.

Они оплакивали Войнока над заново разложенным

костром, выкрикивая в каком-то радостном отчаянии все, что о нем знали. Потому, что он умер, и потому, что все-таки существовал такой человек, как Войнок. Все оплакивали Войнока, пока не обессилели и не заснули.

Среди ночи страж, выставленный на край ущелья, крикнул, что пришел Войнок. Казалось, туман над горным склоном сгустился. Войнок приближался к лагерю донельзя медленно. Разбойники, сидя вокруг догоревшего костра, съежились. Рука, пожелавшая бросить в костер полено, застыла от ужаса и холода. Это от Войнока повеяло ледяным холодом, воздушная эта струя обдала разбойников. Войнок же, распространявший холод, сам, казалось, ничуть не мерз. Он опустился на землю, подальше от костра. На прежнего Войнока он походил так же, как мертвец походит на живого человека.

Тут Грушек, собравшись с духом, поздоровался с Войноком, сел на землю против него, лицом к лицу, и заговорил с ним:

— Дорогой Войнок, почему ты не держишь своего слова? Почему ты опять пришел к нам?

Войнок ничего ему не ответил. Разбойники же, услышав голос Грушека, немного успокоились, они восхищались Грушеком, восхищались тем, как он умеет обращаться с разными людьми, даже с мертвецами, и почувствовали себя в полной безопасности. Грушек же продолжал:

— Разве ты хоть сейчас не можешь сдержать свое обещание? Чего тебе еще надо у нас? Мы просили тебя об одной-единственной мелочи, но даже эту нашу крошечную просьбу ты не хочешь выполнить.

Войнок не двигался, и Грушек продолжал:

— Хотя время, что ты жил с нами, было совсем недолгим, хотя время это оставило по себе не очень хорошее воспоминание, мы сегодня тебя оплакивали, как если бы ты всю свою жизнь неразлучно провел с нами. Послушай, Войнок: Войнока за горой Сестер крестьяне забили палками. Никогда еще не было такого разбойника, никогда больше такого не будет. Кто такой Грушек по сравнению

с Войноком? Грушек уже стар, если завтра его руки без сил упадут, то шайка его разбежится в разные стороны.

Грушек упер руки в бока, стал покачиваться, и его сухие кости захрустели.

«Зачем только я сюда пришел? — подумал Войнок.— Зачем я еще раз проделал этот жуткий путь по горам? Я давно бы обрел покой, меня давно бы занесло снегом».

Разбойники раскачивались из стороны в сторону, их головы иной раз сталкивались друг с другом. Они теперь уже почти не боялись, словно поняли, как мало значит один мертвец против стольких живых. Они забыли о своем госте. Но их вопли и стенания лились таким обильным потоком, что можно было только диву даваться, сколь многое вместила в себя эта быстро окончившаяся жизнь.

Войнок был слишком слаб, чтобы подвинуться к костру. Кому бы пришла в голову мысль подтянуть его поближе? Чем скорее холод расколет мое сердце, думал Войнок, тем лучше и тем скорее застынет моя бесполезная, до костей разодранная плоть. Он чуть приподнял голову. На мгновение над костром словно бы возникла жизнь, юная и заманчивая, истинно разбойничья жизнь, смелая и счастливая. Войноку жаль было эту жизнь, быстро пришедшую к концу под буйную песнь у чересчур сильно разгоревшегося костра. В него ведь бросили разом все поленья.

Грушек замолк первый, он заметил, что гость исчез.

Утром разбойники нашли свежий след, протоптанный ночью. Грушек их утешил: Войнок не мог далеко уйти. Грушек кряхтя поднялся; теперь он всегда с трудом поднимался со своего ночного ложа, словно земля хотела его удержать. Но он знал, что́ обязан сделать для шайки. Он отправился в путь вместе с лучшими своими людьми. Они очень скоро нашли Войнока. Тот лежал, головой зарывшись в снег. Разбойники спросили Грушека:

— Похороним его в лагере?

— Это уж слишком,— ответил Грушек.

Тогда они просто положили Войнока лицом вверх и укрыли снегом. Справились с этим очень быстро.

Мертвецы с острова Дьяль

Голландская легенда

Мертвецы на дьяльском кладбище престранный народ. Порой у них поднимается такой зуд в костях, что деревянные кресты и могильные камни начинают подпрыгивать. А по весне и по осени, когда в воздухе стоит великий свист и вой, на них просто нет управы. Дело в том, что мертвецы эти при жизни были сплошь моряками, ходили по всем морям, покуда не разбились о рифы острова Дьяль. И вот теперь изволь лежать и слушать, как за кладбищенской оградой ревет и шипит море. Это даже и покойнику не под силу. Порой, когда мертвецы никак не унимались, дьяльский пастор во главе своей общины с молитвой обходил вокруг кладбища и сквозь ветер и дождь успокоительно оплетал беспокойное место венком из псалмов, ибо его реформаторское сердце не жаловало святую воду и прочие священные предметы. Иногда он даже сам бродил между рядами могил, и если слева или справа от него содрогалась земля, он топал изо всех сил и рявкал: «Эй вы там, внизу, чтоб было тихо!» И покойники затихали при звуках его голоса.

Занятный человек этот пастор. Ему бы впору быть сатаной, не поспеши он стать пастором на острове Дьяль. Его душа, наверное, была насквозь искорежена и продырявлена всеми исповедями, которые ему довелось выслушать. Ужасными, бурлящими, пропахшими жизнью и смертью исповедями из уст лежащих при последнем издыхании моряков со всех пяти континентов.

Дом, в котором он жил, прилепился к скале и был похож скорее на рыбацкую хижину, нежели на пасторат. Лет ему

было пятьдесят без малого, у него были сверкающие глаза, оттопыренные губы, голова у него становилась больше из года в год, а сюртук пропах соленой морской водой. Такому были без надобности дети и родня, жена или подружка. Такой мог на острове Дьяль тешить более дикую и великолепную похоть, предаваться более бурным страстям. Когда вода клокотала, а ураган обрушивал на берег град тонущих кораблей и рассекал скалы, будто шелковую ткань, пастор сам себя перевозил на лодке через клокотание залива, чтобы сказать последнее напутственное слово какому-нибудь умирающему на том берегу.

Но самую бурную страсть он посвящал мертвецам. Если к песчаным отмелям либо к западным рифам прибивало корабль и он, как говорят, в полном составе шел на дно, пастор, хотя шторм еще не улегся и волны накатывали на берег коварным зигзагом прилива, подгребал со своими людьми поближе к терпящему бедствие, чтобы извлечь и предать земле как можно больше трупов.

Однажды такой вот безумной ночью разбилась в виду острова голландская шхуна «Даниэль Аверкамп». Когда на другой день рыбаки, предводительствуемые пастором, сделали свое дело и уже легли на обратный курс, они обнаружили в выемке одной скалы, где было и помельче и поспокойнее, тощего покойника, который зацепился за камни шейной серебряной цепочкой, и пастор пожелал непременно прихватить и этого.

Оказалось, что тощий и долговязый покойник — это Мортен Зизе, сам капитан собственной персоной, и поскольку он был при жизни изрядным чудаком, ему и сейчас захотелось остаться в море, там, где он всегда предпочитал находиться, а потому, как его ни подковыривали баграми и шестами, он не поддавался. Поскольку волна, поднимая лодку, каждый раз бросала ее на камни, рыбаки начали роптать. Однако пастор был твердо убежден, что христианину, даже мертвому, не пристало мокнуть среди рыб и прочей нечисти, между водорослями и кораллами, а пристало ему лежать в земле под крестом, и в последнюю

минуту пастор придумал хитрое приспособление, вроде как силки, с помощью которых капитана удалось наконец перетащить в лодку. А немного погодя он получил надгробный памятник, и с надписью — не хуже чем на Дордрехтском кладбище.

Впрочем, вскоре выяснилось, что новый обитатель Дьяля наделен неукротимым духом. Однажды вечером к пастору весь в холодном поту прибежал могильщик, чья хижина стояла в углу кладбища, и поведал, что капитан опрокинул камень и уже высунул из могилы одну руку. Пастор встал, не проронив ни звука, отправился на ночное кладбище, водворил упомянутый камень на законное место и всей тяжестью сел сверху, будто на крышку сундука или чемодана. Так он дождался утра, и с этого дня капитан притих.

Летом — волны лишь чуть приплясывали, взбегая на сверкающие скалы, и солнце рассыпало по ним желтые колечки — пастор сидел в своей комнате, держа перед собой открытую Библию. «Когда это послание прочитано будет, позаботьтесь, чтоб оно было прочитано и в Лаодикийской церкви...» — в третий раз громко произнес он, ибо неизвестно почему это место казалось ему наиболее благозвучным и вообще украшением Нового завета, пусть даже Ветхий больше подобал мажорным струнам его сердца. Итак, он в третий раз произнес эти слова и ударил кулаком по столу.

Тут послышался какой-то шорох, может, он слишком громко ударил по столу и сотряс доски в стене?

— Кто там? — вскричал он, поначалу не поворачивая головы, но дуновение ветра за спиной все-таки заставило его повернуться.

И действительно, дверь была открыта. Хотя он не слышал ни шагов, ни стука, в дом вошел незнакомец, высокий худой человек в синей куртке с блестящими пуговицами и с цепочкой на шее. Если отвлечься от пуговиц и цепочки, вид у вошедшего был в общем убогий и опустившийся.

— Садитесь,— пригласил пастор.— Что вам угодно?

Незнакомец нерешительно сел с брюзгливым выражением.

— Я недавно пристал здесь к берегу,— начал он.

— Правда? — спросил пастор.— Я не видел ни одного корабля на подходе.

— Я слышал,— продолжал свою речь незнакомец,— что мой двоюродный брат Мортен Зизе в прошлом году потерпел здесь крушение и похоронен вами по христианскому обычаю. Я хотел попросить вас, чтобы вы проводили меня к его могиле.

— Значит, вы пристали к нашему берегу только ради могилы? — воскликнул пастор.— Это мне по нраву...— Тут он запнулся. Его гость явно страдал какой-то болезнью, ибо его худые члены сотрясала дрожь.

Пастор встал, а когда он вернулся с бутылкой, незнакомец листал Библию, причем как-то неправдоподобно переворачивал страницы самыми кончиками большого и указательного пальцев.

— Не могу понять,— язвительно заговорил он,— как может разумный человек находить в этом удовольствие? Если принять на веру все то, что здесь говорится, можно подумать, будто люди затем приходят в этот мир, чтобы испытать внутри и снаружи всяческие чудеса, которые сами по себе являются всего лишь преддверием к тому великолепному, что откроется им в самом конце. А как все выглядит в действительности? Они самую малость походят по морю, испустят где-то дух, а остаток вечности проведут с пустым брюхом в грязной земле.

Пастор отнюдь не рассвирепел, и в уголках его губ зазмеилась улыбка.

— А я считаю, что это замечательная книга. Я знаю ее наизусть от доски до доски, и если бы мне суждено было снова родиться на свет, я бы снова выучил ее наизусть. В ней идет речь обо всех, о глупых и умных, о сильных и слабых, о твердых и мягких, о моряках и служителях Бога. А что до чудес, то каждому выпадает на веку ровно столько чудес, сколько он способен вместить.

Незнакомец не сумел подыскать достойный ответ и начал язвить.

— А для чего нужна пастору водка? — спросил он.

— Не для себя,— засмеялся пастор,— а для тех, кто у меня исповедуется. Водка развязывает им язык.

И тогда пришелец почти залпом выпил ее всю, озноб его утих, он потянулся и вдруг вскочил:

— А теперь пошли на кладбище.

Тем временем уже успело стемнеть, и пастор спросил:

— А до завтра подождать никак нельзя?

Но пришелец упорствовал, он хотел идти сейчас же.

И они зашагали через дюны, приземистый пастор и долговязый, наклонившийся вперед пришелец. В тихую ночь, под легкий, успокоительный шум прибоя. Путь был не близкий, и оба молчали.

Вдруг пастор сказал:

— Дорогой мой, я совершенно убежден, что вы лишь притворяетесь живым, а на самом деле вы мертвы.

— Вздор какой! — пробурчал тот, и оба молча пошли дальше. Когда они вошли в кладбищенскую калитку — тишина была глубокой, и цикады стрекотали в зеленой траве,— на лоцманской вышке пробило двенадцать.

Тут пришелец остановился, широко расставив ноги, оскалился и произнес:

— А теперь вы в моей власти, пастор, теперь вам придется лечь вместо меня в пустую могилу. Я и есть Мортен Зизе, капитан...

Тут пастор громко расхохотался и вскричал:

— Блестящую месть вы придумали, но так и быть, я иду за вами. Я только хотел бы сперва вам кое-что показать.

И поскольку они как раз шли мимо заброшенной части кладбища, пастор ногой вытолкнул из буйных зарослей каменную глыбу со словами:

— Читать умеете? Да? Тогда читайте.

Капитан склонился над камнем и, заикаясь, прочел: «Здесь покоится Ян Зегерс, преставился на Дьяле в году

господнем 1625 в кальвинистской вере, в коей он жил и родился в 1548 году в Альтмарке».

Здесь пастор схватил капитана за цепочку, повлек его за собой, неторопливо и спокойно, как ягненка, продолжая при этом свою речь:

— Обыкновенному христианину, каким были вы, капитан, положено после смерти терпеливо лежать в земле, покуда господу не будет угодно протрубить светлое воскресение. Я же не удовольствовался тем, чтобы высовывать руку, опрокидывать надгробный камень или пугать пастора, нет, своими дикими и гневными молитвами я так долго докучал Богу, покуда он, вняв заступничеству своих семерых ангелов, не дозволил мне вторично вернуться к жизни в моем старом обличье. Знайте же, капитан, что я и сам мертвец!

Грубеч

Если бы заменить в газовом фонаре, что висел на железном крюке над дверью погребка, обгорелый рожок чем-нибудь поярче, то и тогда новый свет сумел бы разве что осветить лужи в выбоинах вымощенного торцом двора, стоптанный башмак да кучу гнилых яблок. Этот рожок, словно шахтерская лампочка, указывал путь дождю, который тонкими нитями упорно сеялся в колодец двора. Лишь где-то, примерно на середине высоты, трепыхалось что-то белое, живое. Это трепыхалось белье, развешанное в кухонном окне, а хозяйка, видно, подалась в город еще до дождя.

И все же во дворе, пожалуй, было веселей и вольготней, чем за стеклом, не то с какой бы стати распахиваться окну слева, на третьем этаже, и женщине высовывать голову с протяжным возгласом «А-а-ах», и девочке, привлеченной этим возгласом, притискиваться рядом с ней, в уголку. Вторая, та, что помоложе, отличалась прямо редкостной худобой. Не такой, какая обычно бывает у пятнадцатилеток,— нет, ей просто с самого рождения отпустили меньше плоти, чем положено, жалкую, скупо отмеренную пустяковину. От холода у девочки застучали зубы, а руки, похожие на голые ветви, покрылись гусиной кожей. Она невольно склонила голову на плечо первой, но глаза у нее сомкнулись от неприязни к этому счастливому, теплому, здоровому плечу. Женщина приподняла руку, но обняла не девочкины плечи, а собственные груди и покачала их, как двух красивых детишек, и пощекотала кончиками своих черных кос. Потом, опустив их на по-

доконник, начала блестящими глазами вглядываться в глубину двора, который наверняка не мог быть таким темным и пустынным, как казалось с первого взгляда; она и впрямь обнаружила на брусчатке несколько пятнышек света, падавших из Мункова трактира внизу, в подвале дома.

Дождь приутих. Занялся тусклый, желтоватый свет, словно и там, на небе, зажгли жалкий газовый рожок. Дверь погребка вдруг громко хлопнула, какой-то мужчина неуклюже выбрался наверх, повернулся вокруг собственной оси и побежал через двор к двери, что напротив. Из погребка еще донесся какой-то резкий звук, не то крик, не то свист.

— Грубеч опять вернулся,— сказала Мария, старшая.— Теперь жди беды.

Она засмеялась и снова начала убаюкивать свои груди. Младшая передернулась, и подбородок у нее задрожал. Из водосточной трубы совсем рядом падали на жестяную крышу капли, тихо и неравномерно, словно кто-то разбрасывал из пригоршни монеты.

Вдруг в комнате вспыхнул свет.

— Добрый вечер, Мария, добрый вечер, Анна.

К ним подошел человек в промокшей одежде. Левую руку он положил на голову своей сестренке, правой обнял под грудью жену и поцеловал ее в шею, плечи и лицо. Потом и левая рука, лежавшая как раз на проборе у Анны, словно собачка, позабытая хозяином, шмыгнула туда, где уже лежала правая. Анна опустила голову. Двое отступили в глубину комнаты и, стоя друг подле друга, начали раздеваться. Анна легла на скамейку. Пахло мокрой одеждой. Свет погас. С большой кровати, стоявшей в углу, донесся шорох и короткий смешок из-под одеяла. Анна снова поднялась, подошла к окну и далеко высунулась из окна. Дождь почти совсем утих. В луже под фонарем разбегались круги от дождевых капель. На самом краю лужи лежал большой размокший башмак.

Какая бывает беда? — думала про себя Анна. Такая, как двор внизу, такая, как комната за спиной? Или бывают

другие беды, красные, раскаленные, светящиеся? Ах, вот бы мне такую беду!

Рано утром Мария сказала Анне:

— Хватит тебе глазами дырки в стене сверлить. Сбегай-ка лучше забери корзину, что мы одалживали. Слышала?

Анна стояла в подъезде и разглядывала двор, который ей предстояло пересечь. Об эту пору во дворе было тихо, но Анне он представлялся ущельем, в закоулках которого притаились дикие звери. Что-то теплое потерлось о ее босую ногу. Анна радостно глянула вниз. Это оказался всего лишь котенок, но на спине у него зияли две дыры — словно серый мех, прогрызенный молью. Анне стало противно. Она не посмела оттолкнуть котенка, она продолжала стоять, закрыв лицо руками. Котенок несколько раз лизнул ей ногу, потом перескочил на помойное ведро. Анна вышла во двор.

Когда ходишь среди диких зверей, не имеет никакого смысла покачивать бедрами и мурлыкать себе под нос. Надо приложить все усилия, чтобы тебя не заметили. Анна пробиралась вдоль по стеночке бесшумно, только чуть шаркая соломенными подметками своих башмаков, которые были слишком широки в щиколотке. Сперва все шло гладко. Но когда она проходила мимо погребка, оттуда как раз поднимался припозднившийся пьянчужка. Он углядел снизу голые ноги, весь как-то похотливо и глупо потянулся, чтобы схватить их своими длинными, нетрезвыми руками, и рухнул уже на верхние ступеньки, так что Анна споткнулась об его голову. Несколько парней, стоявших у соседней двери, громко загоготали. Анне стало страшно. Она прижала локти к бокам. Но вдруг один из них, толстый, русоволосый, наступил своим сапогом на Аннин башмак, так что нога из него выскользнула. Тогда он поднял башмак с земли и протянул его Анне. Анна шагнула к толстяку. Толстяк поднял башмак выше. Но Анна не пошла за башмаком, как он, верно, рассчитывал. Она лишь едва заметно улыбнулась и заковыляла дальше в одном башмаке, поджав

пальцы, чтоб их не было видно. Толстяк размахнулся и запустил башмаком в котенка на помойном ведре.

А наверху Мария вышла в коридор почесать языком и встретила там соседку, Зебальдову жену.

— Грубеч,— так начала Зебальдова жена,— Грубеч с нами сидел за одним столом, с нами ел, с ребенком тетешкался. Сначала только по воскресеньям, а потом по два раза на дню. Прямо приблудился к нам. И не сказать, чтобы влез тихой сапой и как-то улестил нас. Ему это и не понадобилось. Его мой муж привадил. Муж мой, прямо смех берет, муж мой вечно строил планы, придумщик такой, как у него, бывало, заведется новая мысль, он и давай про нее рассказывать, днем — во дворе, ночью — в постели; когда мы с ним поженились, у него завелся такой план: клочок земли за городом, а потом туда перебраться, и во дворе он всем рассказывал направо и налево: «А у меня будет дом за городом». Вот приходит он как-то раз домой и заявляет: «Я тут одного мужика встретил, Грубеч его звать, и Грубеч говорит, что на моем месте он бы продал этот кусок и перебрался к реке поближе». И ведь на самом деле взял да и продал, хотите верьте, хотите нет. С тех пор он перестал говорить: «Хочу загородный дом», а завел другую песню: «Эх, вот пожить бы мне с Грубечем на воде».

Грубеч этот, надо вам сказать, летом спускается на плотах почти до самой границы. Едва запахло весной, на мужа моего прямо колотун напал: «А ну как он без меня уедет!» Слава богу, поехали вместе, а когда вернулись, я своим глазам не поверила: Грубеч какой уехал, такой и приехал, ничего особенного, маленький такой, справненький, зато на Зебальда глядеть страшно — забрызганный, замызганный, весь оборвался и запаршивел, а малость погодя стало ясно, какой он гостинец с собой привез. Он плакал, выл, и ребра мне пересчитывал, и у стульев ножки ломал, да что толку, так оно при нем и осталось. «И ведь всего-то один-разъединственный разочек! — это он так причитал.—

Мы стояли у границы, перед городом, а там была одна такая бабенка, шустрая да рыжая, она сигала по ночам с одного плота на другой. Грубеч с ней тоже побаловался, и хоть бы хны, ему все как с гуся вода». Часто он начинал плакать и приставал ко мне: «А Грубеча там во дворе не видать?» — и когда я отвечала: «Вон он, твой Грубеч», Зебальд, бывало, весь засияет и скажет: «Да, не каждому выпадает такая удача, чтобы целое лето проходить с Грубечем на плоту!» Ну ладно, я пошла.

Во дворе снова настала тишина. Где-то выколачивали постель; маленький, аккуратно причесанный мальчик шел в школу, первый со всего двора; потом прошли двое рабочих, потом с припевкой несколько молоденьких девчонок в пестрых блузках; потом, зевая во весь рот, женщина с корзиной белья, потом стайка детей, потом еще больше рабочих, потом самый последний школьник, мальчуган с яблоком. Наступил день, жаркий и нудный.

Парни, четверо-пятеро, так и остались лежать на брусчатке перед дверью, дожидаясь, чтобы хоть что-нибудь произошло. Работы у них не было. Но солнце заливалось им в глотки, расписывало рубашки у них на груди, башмаки на ногах, латало дыры их курток. Пауль, загорелый до блеска, с яркими, сверкающими зубами, стоял, широко расставив ноги и оцепенев от тоски. Тони пощипывал свои усики и напевал себе под нос начало одной и той же песни, его дырявые башмаки были тщательно вычищены, ногти подстрижены. На подоконнике дремали сидя двое рыжих близнецов. Под ними растянулся на животе долговязый белобрысый парень, которого неизвестно почему все холили и лелеяли. Мутный поток солнечного света, захлестнувший брусчатку, совсем уже подобрался к их ногам. Стояла такая тишина, что можно было слышать, как на какой-то сковороде скворчит жир, резкий запах которого разносится по всему двору.

— А вот и нашего Шленкера принесло,— внезапно промолвил один из близнецов. Все как по команде повер-

нули головы. На солнечный свет из подъезда вышел человек, самый обыкновенный человек с белыми манжетами и седым клинышком бороды. В другой части города, на том берегу, где дома отстоят далеко один от другого, таких можно встретить десятками, сотнями.

Гладкий и бесшумный, будто призрак, змеей скользящий сквозь раздерганный, крикливый мир, передвигался он по вздыбившимся торцам, рассеченным кое-где водосточными ручейками. Он улыбался про себя, словно испытывал стыд, что и на лице у него нет рубцов, и на рукаве дыр. В городе на него нападала тоска по родным местам, и тогда его тянуло сюда, благо домов у него хватало. Но сюда он всякий раз приходил самолично. Плату, которую ему удавалось собрать, он всю тратил уже на обратном пути. Может, он тосковал вовсе не по родине, а по вкусу той жидкости на языке, которой в городе вообще не было, той удивительной жидкости, которая заставляла сильнее биться старое, сонливое сердце, пришпоривала скучный день и напоминала страх, если, конечно, допустить, что страх может быть благом. Шленкер улыбнулся про себя, взялся рукой за бороду, оттопырив большой палец, желтый, потрескавшийся, кривой палец, словно хотел этим жестом сказать: «Многим служить не могу, но кое-что, как видите, есть». Он быстро зашагал вперед через весь двор. Он прошел между парнями в дверь, легко толкнув локтем Блондина. Блондин высоко вскинул брови и облизал губы. Все взгляды обратились к двери, но уже минутой позже Шленкер вернулся, он перепутал подъезд и, задев на ходу Пауля и Блондина, снова выбежал во двор. Навстречу ему как раз шел человек, бледный, невзрачный, опрятно одетый. Шленкер сбился с ноги, ему почудилось, будто он уже встречал этого человека в минуту, для себя неприятную. Он оглянулся, тот, другой, тоже оглянулся, с улыбкой, то ли потому, что вспомнил, то ли потому, что и Шленкер обернулся. Шленкер побрел дальше, ничего перед собой не видя от напряженных раздумий. Он уже

вошел в дом, когда наконец вспомнил, с кем перепутал незнакомца.

На сердце у него стало легко.

А незнакомец тем временем приблизился к парням.

— Добрый день, Грубеч,— сказал маленький чернявый.

Грубеч кивнул и рассеянно посмотрел вниз, котенок бесшумно подкрался к нему и начал играть с его ботинком. Грубеч увидел дырявую шкурку, искорки радости на какое-то мгновение сверкнули у него в глазах, озарили пасмурное лицо. Грубеч отвернулся от котенка, и маленький Тони — двумя пальцами он держал Блондина за мочку уха — отдернул руку и сунул ее в карман. Взгляд Грубеча проникал сквозь материю, и у Тони зачесались пальцы.

Но Грубеч и думать не думал про его руку. День был знойный и пыльный, даже от солнца несло прогорклым жиром, до чего же они скучные, этот Тони со своими усиками, этот Пауль со своими зубами — а кого же я только что встретил, я, пожалуй, еще раз его встречу, занятный у него был палец...

— Эй, Грубеч, ты где пропадал целое лето? — спросил Пауль.

— Да нигде, слонялся, на реке был, а теперь зима на подходе, теперь надо бы чего потеплее.

— Можно ко мне,— сказал Пауль,— помнишь, как в тот раз.

— И к нам можно, давай к нам, Грубеч,— поторопился Тони.

— А мне все равно куда податься. Пока не придут холода, я могу оставаться там, где был весной, у Мунка под лестницей.

Наверху у кухонного окна стояла Мария и поливала желтофиоли, которые Мартин только что внес в дом. Ее глаза, искрящиеся скрытым весельем, метали поверх цветочных горшков быстрые, короткие взгляды вниз, во двор.

— Надо бы и тебе поладить с этим Грубечем,— бросила она мужу через плечо.— Гляди, как с ним все ладят.

После обеда Анна села к окну с картошкой и с ножом. Мария куда-то ушла, Мартин был на работе. Солнце закинуло к ним сеть из золотых колечек, словно хотело поймать в нее комнату со всей обстановкой и самое Анну. Анна чистила картошку и напевала тонким хриплым голоском. Потом она уронила нож в миску и развернула кончиками пальцев ленточку кожуры. Она думала обо всем на свете и ни о чем. Дома у них перед дверями росло дерево, здесь деревьев не было. На свадьбе Мария сидела красивая и вся сверкала, как королева. Мария смеялась, когда надо было смеяться, плакала — когда плакать, ее косы летали по комнате, ее стати хватило бы, чтобы наполнить целый зал. Если б у меня были такие же косы, толстые, как канат, если бы мне не прижимать вечно локти к бокам, если бы, если бы...

Анна снова взялась за картошку. Стало жарко. Солнце начало помаленьку выбирать свою сеть. В дверь постучали, и сразу кто-то вошел — маленький человечек с острой бородкой.

— Я насчет квартирной платы,— сказал он.— Отец дома?

— Отца у нас нет,— тихо ответила Анна,— а брат ушел.

Человечек снова взялся за дверную ручку и обвел быстрым взглядом комнату, самую хорошую и прибранную из всех, какие ему пришлось перевидать за это утро. Другой рукой он схватил свою бородку и начал перетирать ее между большим и указательным пальцами, большой палец у него был желтого цвета и какой-то оттопыренный. Анна загляделась на этот палец, а Шленкер опустил глаза, чтобы понять, на что тут заглядываться. Но Анна по-прежнему не сводила глаз с его бороды. Тогда Шленкер выпустил дверную ручку и сделал шаг в ее сторону. Анна вскочила, так что картофелины запрыгали по полу. Пока Анна сидела, она была девочка с тонкой косичкой, когда встала — девушка с длинными голыми ногами, с маленькой грудью под домашним платьем. Шленкер удивленно на нее глянул, Анна выставила вперед руку, вне себя от страха. Шленкер сделал еще шаг.

— Да что с тобой? — спросил он и положил руку ей на голову. Волосы и впрямь были теплые.— Да что с тобой? — повторил он и провел пальцами по ее руке, рука была до того худенькая, прямо так и тянет провести по ней еще раз. Анна, словно очнувшись, проворно отпрянула к стене, Шленкер за ней, Анна подбежала к окну, подтянулась, а внизу во дворе стоял ее брат, с кем-то разговаривал. Анна крикнула:

— Мартин! Мартин!

Шленкер коротко хохотнул и покачал головой.

Потом уже Мартин сказал Анне:

— И чего было кричать? Работа у нас есть, чем платить тоже есть, нам бояться нечего, у нас не как у других прочих.

Однажды вечером, возвращаясь с работы домой к ужину, Мартин уже в подворотне услышал вжиканье пилы.

Год назад, после смерти родителей, Мартин, учившийся ремеслу в деревне, перебрался в город искать себе доли. Не слишком тому удивляясь, он вскоре нашел то, чего искал. Не сказать, чтобы в городе у него была легкая жизнь, как и у всех здесь, пусть даже Марии ни разу не пришлось увертываться от тумака, как не пришлось и латать жесткие деревенские рубашки, привезенные Мартином. Мартин был из тех, кому нет дела, что́ тянется вдоль длинных дорог, по которым они шагают,— тополя или газовые фонари. Правда, дом, в котором они осели, был какой-то несуразный, но Марии он нравился, судя по всему, она здесь вольготно себя чувствовала. Мария, Мария — дружки Мартина считали, будто он уж слишком с ней носится, пусть даже глаза у нее малость побольше, а косы малость потолще, чем обычно бывают глаза и косы. Он познакомился с ней в первое же свое городское воскресенье, на танцах, и вскоре женился. С этих пор на его молодое лицо, лицо крестьянского парня, легла тень, не печаль, а именно тень, которую отбрасывает радость. Именно от радости на него иногда по утрам нападало у станка легкое голово-

кружение. Впрочем, он не забыл из-за Марии про свою маленькую сестренку Анну. Она служила в деревне у чужих людей, Мартин пожалел ее и взял к себе.

Когда он сворачивал в переулок, его окликнули мерзнущие девицы, которые уже торчали, принарядившись, в окне углового дома. Но Мартин даже и не понял, что это его окликают. Он слышал звук пилы из подворотни; в дальнем конце двора спиной к Мартину пилил какой-то человек. Мартин остановился и поглядел на него, не столько из любопытства, сколько от усталости. Вечер был субботний, неделя длинная, повод остановиться — очень кстати. Монотонно и равномерно вжикала пила в полутемном дворе. Над погребком Мунка засветился фонарь. Это Грубеч, подумал Мартин, когда он обернется, я с ним заговорю, только бы он обернулся. Грубеч перестал пилить, прислонил пилу к козлам, шумно вздохнул и обернулся. Мартин подошел к нему поближе и поздоровался. Грубеч поглядел на него снизу вверх — Мартин был по меньшей мере на две головы выше. Они поговорили о том о сем, о дровах, господи, до чего же Мартин устал, мне бы только потрогать его руку, думалось Мартину, господи, какая ерунда лезет в голову. Они поговорили о том о сем, об осени, о ценах на дрова, о заработной плате. Вот взять бы его за руку, ерунда да и только, думал Мартин. Разве случилось что-нибудь? Когда у него было вот так же тяжело на душе? Незадолго до свадьбы Мария, помнится, сидела перед ним, все быстрей закручивая в колечко концы своих кос. И тогда во дворе тоже горел фонарь. У этого Грубеча нет жены, думал Мартин, нет семьи, нет ни кола ни двора, он человек без дома, без крова. Сострадание захлестнуло Мартина.

А он мне нравится, думал Грубеч, настоящий крестьянский парень. Чем-то похож на Зебальда. Да, да, мне он нравится, для меня он подходящий.

— У вас, верно, нет семьи? — спросил Мартин.

— Нету. А у вас?

— Конечно, есть.

Оба помолчали. Во всех окнах тем временем зажглись огни. И вдруг Мартин сказал:

— Гляньте-ка, что у меня есть! — и снял с бутылки соломенную оплетку.— Пойдемте к нам, разопьем вместе.

Он взял Грубеча за руку, наконец-то нашел повод. Снова в глазах у Грубеча блеснули радостные огоньки. Да, он пойдет, с превеликим удовольствием.

— Тогда идем,— сказал Мартин и пошел первым. Усталость как рукой сняло.

Они вошли. Мария встала и чуть подняла брови. Ее незачем предупреждать о гостях. На столе то ли уже лежала белая скатерть, то ли ее успели так быстро расстелить, словно она всегда здесь была, от жаркого приятно пахло, и не каким-нибудь дешевым жиром, а по-воскресному; гостеприимно улыбались глаза Марии, ее губы. И то сказать, разве можно было найти гостя лучше, чем этот оголодалый, бездомный бродяга? Уж тут можно не сомневаться, что его пустые глаза вберут в себя все — цветастые обои, зеркало, новый абажур. Комната-то какова, думал Грубеч, семья-то какова — жена и муж, ребенок у них тоже есть, там, позади, под перинкой, а косичка на подушке. Но тут Мартин встал, шмыгнул мимо печки, пытаясь по дороге прихватить от Марии столько, сколько позволяет минутка, от ее бедер, ее свободной руки. Он задернул занавеску. Грубеч глядел ему вслед, он увидел и занавеску в таких же цветочках, что и обои. Мартин вернулся к столу, поставил на стол лампу со шкафа и зажег ее, Мария принесла кастрюлю и села. Свет лампы обнял своей рукой всех троих. Никому не дано знать, подумал Грубеч, как здесь все будет выглядеть через несколько месяцев.

Мария разливала суп, и на ее запястьях позвякивали тонкие браслеты.

— Господи благослови! — произнес Мартин, и все трое молча принялись за еду.

Мне нравится этот Мартин, думал про себя Грубеч, он нравится мне куда больше, чем нравился Зебальд, их

даже и сравнивать нельзя. Его я жалею гораздо больше, чем жалел Зебальда. Глаза у Марии заблестели, искорки запрыгали по лицам мужчин. Но Грубеч отодвинулся от Марии поближе к Мартину. Их тарелки стояли теперь так близко, что руки их порой соприкасались.

И вдруг Мартин снова ощутил прилив сострадания к Грубечу. Ему казалось, что Грубеча надо как-то утешить, хотя и непонятно почему. Я никого так не жалел, как этого Мартина, думал и Грубеч. Мартин вскочил с места.

— А теперь выпьем,— улыбаясь, предложил он.— Я пью только в канун воскресенья, по будням я никогда не пью.

Грубеч оглядел Мартина снизу вверх, взял рюмку обеими руками. Да, с таким и поделиться в радость. Мария тихо произнесла свое «А-ах», теперь и Грубеч на нее мельком глянул. Они выпили свои рюмки до дна и налили по второй. Как в медленно наполняемом сосуде, краснота перекинулась с белой шеи на лицо Марии.

Засучив рукава, она начала раскладывать мясо.

Мартин снова засмущался. Может, ему невкусно, подумал он, может, ему не нравится? Почему он молчит?

Тут Грубеч сказал:

— Вы давно в городе?

— Больше года. А вы?

— Я? Всю жизнь.

— Вы ходите на плотах?

— Хожу иногда.

— Это трудно?

— Надо понимать реку.

— А заработать можно?

— Когда как. Но у границы — баста, там большой город, там спускаешь все, что заработал.

— Город такой же, как этот?

— Еще больше.

— Ну а потом?

— Потом то ли находишь что-нибудь новое, то ли едешь обратно.

Мартин задумался.

— Нет, это не по мне. Мне надо знать, что я должен делать и как долго, и когда я буду есть, и когда лягу спать, и когда встану, чтобы заранее все распределить.

Ну кто меня тянул за язык, подумал Мартин, ему это не понравилось. Да и то сказать, может, и я не прочь бы испытать что-нибудь неожиданное.

Но Грубеч ответил:

— На вашем месте я рассуждал бы точно так же.

В углу зашуршало. Ах да, там ребенок. Он проснулся, он слушает, что я говорю. Ну и пусть слушает.

— У вас и ребенок уже есть?

— Нет, это сестренка.

— Будь я ребенком, уж я бы знал, что мне делать.

— Что?

— Я бы прикинулся дурачком и сбежал.

— Зачем?

— Однажды ночью ни с того ни с сего я бы взял и сбежал.

— Зачем?

— На реке у детей другая жизнь, чем в этом дворе.

— Дети на реке?

— У любого речника есть на борту какая-нибудь живность: у кого котенок, у кого птичка, у кого щенок, у кого ребенок.

— Ну, вы уж скажете!

— Господи боже, такая девочка! Если уж ее забросила судьба в этот двор, кто ее вызволит? Подворотня узка, в нее не въедет суженый. Крыши высоки, с них не спрыгнет милый. А когда такая птичка начнет трепыхаться и бить крылышками... до берега, где стоят кабаки для матросни в синих куртках и с ножиком за голенищем, дорога не такая уж и далекая, и до города, где есть широкие улицы с фонарями и важными господами, тоже не слишком далеко. Но и не близко, если выбираться между картофельной кожурой и штопкой чулок. Четыре угла — тоже неплохой выбор, чтобы спать во дворе. Лучше уж так, чем совсем никак. Но может, если припрет, тебя потянет на улицу,

четыре шага направо, четыре шага налево — и воскресенья как не бывало.

— Прижиться можно всюду,— сказал Мартин.

Мария тем временем выкладывала у себя на тарелке узор из яблочных зерен. В углу зашуршало громче, потом ступили на пол босые ноги. И Анна вдруг подошла к столу.

— Ты чего? — испугался Мартин.— Ложись обратно, не то еще хуже разболеешься. Как здесь побывал Шленкер на прошлой неделе, она до того напугалась, что с тех пор лежит на скамейке, не ест, не пьет, глаза уставила в стенку и ни с кем не разговаривает.

— Дай и мне немного попробовать,— тихо сказала Анна и взяла рюмку Мартина.

Грубеч подпер голову руками и оглядел ее с головы до ног.

— Тебе нельзя,— сказала Мария и отобрала у Анны рюмку.

— Пусть ее,— вступился Мартин,— там всего-то и осталось на один глоток.

Анна снова взяла рюмку и поднесла ее к губам.

Грубеч встал.

— Спасибо за угощенье, а теперь я пошел. Всего вам доброго.

В эту минуту Анна хотела поставить рюмку обратно, но что-то у нее поделалось с рукой, и она поставила мимо стола, а потом, сдвигая головой и худенькими руками тарелки и рюмки, упала поперек стола, как падают на землю. Теребя и перетирая зубами скатерть, она всхлипнула, но, кроме тихого дребезжания посуды, не прорвался наружу ни один звук. Мария склонилась над ней, даже руку протянула, чтобы погладить ее по волосам, но, почти коснувшись пробора, ее пальцы отдернулись словно сами собой. Мария поспешно опустила веки, впрочем, ей так и не удалось скрыть бьющую из глаз усмешку.

— Да что с тобой? — растерянно спрашивал Мартин. Он побледнел и начал торопливо растирать босые ноги Анны, она всегда плакала зимой, когда, бывало, замерзнет.

— Значит, всего вам доброго,— повторил Грубеч уже в дверях.

На другое утро Мартин, отправившись на работу, столкнулся в дверях с Грубечем. Тот нес что-то завернутое в газету.

— Девочка все болеет? — спросил.

— Нет, уже встала,— отозвался Мартин.

Он не прочь бы и еще постоять с Грубечем, хоть самую малость, чтоб видели все, кто ни пройдет мимо, но время поджимало, надо было спешить на работу.

Грубеч постучал, и голос Марии разрешил ему войти. Мария ползала на коленках по полу, отскребая его, и ее грудь вольготно покоилась в синем халатике. Она обратила к нему свое красивое, еще не остывшее после сна лицо. Косы у Марии были как попало обмотаны вокруг головы. Взгляд Грубеча скользнул мимо. Там у окна стояла Анна в нижней юбке и заплетала свою косичку. Волосы у Анны были светлые, одного цвета со лбом. Усталые глаза с красными веками болезненно моргали. Она глянула на Грубеча не шелохнувшись, а ее пальцы продолжали плести косичку.

— Это для тебя! — сказал Грубеч и, сдвинув газетную бумагу, что-то протянул Анне. Анна перестала моргать и поглядела на него пристально и серьезно.

— Бери же.

— Что это? — испуганно спросила Анна.

— Да бери же, это для тебя.

— Для меня? Почему для меня?

— Просто так, бери, и все.— Он совсем снял бумагу.— Она всегда была со мной, а больше у меня ничего нет.

Это оказалась маленькая, взъерошенная птичка, несколько грязных, растрепанных желтых перышек, две булавочные головки — глаза.

Анна подумала: пусть она будет моя. Пусть у меня будет что-нибудь живое. Но я, верно, ослышалась, это для Марии, все подарки бывают только для Марии. Они просто смеются надо мной. Она вырвала клетку из рук у Грубеча, поставила

ее на скамейку и опустилась перед ней на колени. Птичка встопорщилась и задрожала.

— Неужели это мне? — Анна робко подняла глаза. Но Грубеча уже и след простыл. Анна начала прыгать с ноги на ногу, и косичка у нее встала торчком.

— Мария, а он мне подарок принес, живой подарок, слышишь, Мария?

Мария вдруг громко захохотала. Анна отвернулась от нее и прижалась щекой к прутьям клетки.

Стоял туман, до того густой, что даже Пауля, хоть он и сидел на подвальной лестнице как раз под Мунковым фонарем, было трудно разглядеть. А Блондина и вообще не было видно, тем более что он сжался в комок, и Тони не было видно, несмотря на белые манжеты и соломенную шляпу, оставшуюся у него с лета. Вместо близнецов виднелись два красных пятна. С тех пор как настали холода, все они перекочевали из подворотни на лестницу к Мунку. И даже женщина к ним приблудилась, Зебальдова жена, которая не испытывала никакой охоты сумерничать со своим доходягой. Она прижалась животом к широкой, округлой спине Пауля, руками обхватила сзади за шею, лицо зарыла у него в волосах. Тут во двор как раз вошел Мартин. Сегодня он вернулся позднее обычного. Он устал и проголодался. А поздней он пришел потому, что сбился с дороги. Туман словно заколдовал город, в котором он и без того не слишком ориентировался. Целых полчаса он чесал вдоль по улице — как и всегда свернув за четвертый угол, но потом выяснилось, что это совсем не та улица. Теперь, судя по всему, он наконец пришел куда надо. Во всяком случае, ему казалось, что это пятнышко света — Мунков фонарь. И вдруг его снова охватило беспокойство. Двор был куда больше, чем полагалось, огоньки в окнах висели куда выше над землей, чем полагалось, темным провалом зияла подворотня. Тут он услышал, как сквозь туман кто-то выкликает его имя. Он вздрогнул и пошел прямо к фонарю. Он узнал Пауля, с улыбкой смотревшего на него. Он много раз видел

Пауля, но обходил его стороной, ему не по душе были такие люди, без работы. Тут он остановился и подумал: «Это Пауль, значит, я дома». Но когда он подошел поближе, ему и Пауль показался каким-то странным и вообще чужим. Главное, с этой женщиной, что прижималась к нему своим костлявым, в пятнах лицом, Пауль был совсем не Пауль.

Мартин сделал еще шаг и лишь тут увидел, что на лестнице сидит не один Пауль, что их тут несколько, он и Блондина признал и не признал, все равно как Пауля. Женщина что-то ему крикнула, одно слово, которого он не понял, но остальные разом загоготали. Мартин поспешил сделать то же самое, и тогда остальные загоготали еще громче. Мартин хотел скорей подняться наверх, к Марии, его вдруг охватило ужасное беспокойство, но он должен был остановиться и поразмышлять над этим словом. Вдруг на лестнице возникло лицо Грубеча, хотя дверь вроде бы нигде не хлопнула. Грубеч кивнул Мартину. Лишь теперь Мартин мог двинуться с места, беспокойство его покинуло, теперь он наконец не сомневался, что действительно пришел домой. И он быстро зашагал прочь. Он слышал, как остальные смеются у него за спиной, даже Грубеч коротко хохотнул, и вдруг Мартин почувствовал себя так, будто ему сообщили недобрую весть. Тяжело стало у него на душе.

Но ведь Мария здорова, твердил он себе, а завтра воскресенье, а в кармане у меня недельная получка.

Все больше народу сходилось в трактир Мунка. И тем, кто сидел на ступеньках, тоже кое-что перепадало, то малая толика света, то малая толика тепла, то глоток, то словцо. Но потом стало слишком уж холодно. Скудного тепла от Мунковой печки, проникавшего наружу, когда открывалась дверь, больше не хватало. Блондин медленно встал со ступенек и растаял в тумане. Тони последовал за ним. Оба рыжих тоже ушли. Где-то под самой крышей жила их мать. Остался Грубеч, и остался Пауль, и осталась женщина. Женщина сказала:

— Послушай, Грубеч, пустил бы ты нас к себе под лестницу.

— Там и для меня-то места не хватает,— ответил Грубеч.

На что женщина:

— Эка важность, нам не танцевать.

— Нет,— ответил Грубеч.

Пауль злобно прошипел:

— Ну, тогда в подворотню.

А женщина:

— Нет, тогда пошли к нам.

И они тоже исчезли в тумане. Грубеч же снова сел на ступеньку. Сквозь туман виднелись огоньки. Глаза Грубеча выбрали один огонек и задержались на нем. Он весь сжался в комок, и люди, которые шли в трактир либо из трактира, спотыкались об него.

Немного погодя Пауль вернулся.

— Ну и как оно было? — спросил Грубеч.

— Как, как, муторно было, вот как.

— Это почему же муторно?

— Понимаешь, он правда уже не человек, а обрубок, и еще она говорит, будто он совсем ничего не видит, и ничего не слышит, и ничего не понимает, но когда он в темноте вроде как не сводит с тебя глаз,— и ведь она его законная жена, он ее поколачивал, когда был в поре и в силе,— скажешь, это не муторно?.. Ты чего делаешь? А ну пусти! — вдруг сердито выкрикнул Пауль и выдернул уголок своего заношенного пиджака у Грубеча из рук.— Чего это ты смеешься?

— Я вовсе не смеюсь. А знаешь, когда Зебальд впервые здесь появился, и начал драть глотку, и выхваляться, и размахивать руками, у меня сразу мелькнуло в голове, как будет странно, если такой вот Зебальд не сможет больше драть глотку и махать руками... А еще я подумал,— продолжал Грубеч, по новой дергая пиджачок,— еще я подумал, что тебе она подходит больше, чем Зебальду.

— Почему?

— Да вот, понимаешь, Зебальд, он, конечно, был хвальбишка и бродяга, но зато он был затейник, и всем взял,

и был не такой жирный, как ты, и ничего не боялся. Словом, он был чересчур хорош, чтобы проторчать весь век в этом дворе, ему бы другое больше пристало.

— Грубеч,— вдруг сказал Пауль и на этот раз не стал выдергивать из пальцев Грубеча полу своего пиджачка, и лицо у него даже обмякло от напряженных раздумий,— дорогой Грубеч, дорогой мой Грубеч, ты случайно не хочешь переехать ко мне, я буду очень о тебе заботиться, как тогда, помнишь?

— Да нет, ни к чему,— ответил Грубеч.

На том они и расстались. Грубеч снова сел на ступеньку, снова устремил глаза туда, где раньше светился огонек, и хотя теперь огонек погас, он продолжал неотрывно туда смотреть.

У Марии с Анной вышла размолвка. Мария хотела уйти, а надо было почистить селедку. Анна говорила:

— Я всегда все делаю, как ты велишь, но пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя, почисть их сама, они такие мокрые и скользкие, там у нас таких не бывало, а тебе это раз плюнуть.

— Еще чего,— отвечала Мария,— ты и так совсем обленилась с тех пор, как у тебя эта птица, тебе бы только играть.

— Я все делаю, как ты велишь,— не сдавалась Анна,— только селедку я чистить не буду.

Вошел Мартин. Он устал и проголодался. Но войдя, сразу забыл про свой голод, подошел к Марии и робко поднял ее руку за кончик мизинца, как поднимают за уголок шелковый платочек. Мария отдернула свою руку.

— Отстань!

— Да что с тобой? — испугался Мартин и вместо мизинца подхватил бахрому ее платка.

— Оба вы на одну стать, что ты, что Анна! — крикнула Мария.

— А при чем тут Анна?

Мария отвела Мартина в сторону и все ему выложила.

— У ней только птичка в голове, ей все бы играть да бездельничать.

Мартин взял миску и поставил ее к Анне на колени.

— А ну чисть! — приказал он, и Мария довольно хмыкнула. Анна поглядела на брата, какой он усталый и бледный, поглядела на селедки, какие они скользкие, и рты у них перекошенные, и глаза живые. Потом она перевела взгляд на свои потрескавшиеся руки, тронула одну селедку, съежилась, снова поглядела на брата.

— Я не отказываюсь,— тихо сказала она,— просто я не могу.

Мария еще раз хмыкнула, и Анна задрожала.

— Выбирай! — сказал Мартин, подошел к окну, снял с гвоздя клетку, вывешенную снаружи, на солнышко, и открыл задвижку. Анна вскочила и поначалу смотрела на брата в немом изумлении. Румянец залил ее лицо, и не пятнистый румянец, а равномерный, так что какое-то мгновение она казалась здоровой и почти цветущей. Правда, всего лишь какое-то мгновение, потом к ней вернулась обычная бледность. Мартин открыл дверцу. Анна наконец бросилась к нему, но птичка уже вылетела.

Тут Анна вырвала у Мартина клетку, прижала ее к груди и обхватила обеими руками.

— Ну, не плачь,— вдруг растерялся Мартин,— Анна, маленькая, не плачь, пожалуйста.

— Я вовсе не плачу,— ответила Анна, проводя двумя пальцами по прутьям опустевшей клетки.

— Не плачь,— взволнованно продолжал Мартин.— Смотри, я сам почищу за тебя селедку, видишь, я уже начал.

Тут Мария засмеялась во весь голос:

— Оба на одну стать, что брат, что сестра.

Вдруг Анна встала и повесила клетку на прежнее место.

— Ты чего вешаешь туда пустую клетку?

— Клетка-то все равно моя,— ответила Анна,— куда хочу, туда и вешаю.

Туман развеялся, зимний двор блестел как начищенный, и в нем отражался зажатый между крышами четырехугольник неба. Небо тоже блестело как начищенное, и на нем тоже мерцало светлое пятнышко вроде Мункова фонаря. Во двор спустилась Анна и, дрожа от холода в своем платке, села на ступеньку. Стояла такая тишина, что даже было слышно, как кто-то кашляет за закрытыми ставнями. Через двор шмыгнул серый котенок. Он также дрожал от холода в своей дырявой шкурке. Котенок пытался залезть к Анне в соломенный башмак. Анна тому не препятствовала. Ноги у нее до того замерзли, что уже ничего не чувствовали. Немного погодя пришел Грубеч и сел рядом. Анна хотела поиграть с котенком, но пальцы у нее свело от холода, и она начала дуть себе в ладони.

— Замерзнешь ты тут,— сказал Грубеч,— пошли лучше ко мне.

— Нет, нет!

— Нет? Почему нет?

— Не хочу, не могу, нет и нет!

— Не хочешь? Не можешь? Это почему же?

— Не знаю. Я боюсь, и все.

— Боишься? Чего боишься?

— Сам знаешь.

— Ничего я не знаю.

— Нет, знаешь.

— Ну, допустим, знаю. И помрешь ты от этого?

— Нет, не хочу.

— Брось, пошли.

— Нет, нет, нет!

— Пошли! — Он взял ее за локоть. Анна опустила голову, положила одну руку на плечо Грубечу, другую прижала к своему животу и, на шаг приотстав, вышла вслед за ним во двор.

Они спустились по лестнице не до конца, потом Грубеч вынул какую-то доску и помог Анне влезть. Раньше Мунк прятал здесь свои ящики, а порой кого-нибудь, кто не желал,

чтоб его видели во дворе либо на улице. Стояла почти непроглядная тьма, но если освоиться, можно было разглядеть ящики, которые до сих пор громоздились в одном углу.

— До чего ж здесь тесно! — ужаснулась Анна.— Здесь задохнуться можно. Лучше выпусти меня.

— Ничё, привыкнешь!

— Нет, здесь можно задохнуться, я хочу назад.

— Тебе одной и не выйти отсюда. Лучше не шуми. Иди сюда. Видишь, здесь стена теплая, от Мунковой печки, что по ту сторону.

Анна села на один из ящиков. Здесь в каменной стене был пролом, через пролом пробился свет фонаря, слабо озарив противоположную стену, и тогда куча в углу отбросила свою тень, что-то вроде собаки с мордой и с ушами. Анна ткнула в тень указательным пальцем.

— Вот видишь, здесь не так уж и плохо. Ты все еще мерзнешь? А ну покажи! Да чего ты дрожишь-то?

— Я так боюсь!

— А чего тогда пришла?

— Сама не знаю, выпусти меня.

— Нет, лучше не шуми.

Но Анна вскочила. Что-то гулко загрохотало у них над головой, и ящики пришли в движение.

— Да чего ты, в самом деле! Кто-то спускается вниз. Мы ведь сидим внутри лестницы, ты потом привыкнешь.

— А как ты сам терпишь?

— Терплю? Здесь занятно. Я всех узнаю по шагам, я знаю, куда они идут и что с ними потом случится.

— И случается?

— Случается, случается, а теперь молчок.

Они начали было, но тут у них над головами загрохотало, твердо, отрывисто, самодовольно.

— Это Пауль! — пробормотал Грубеч.

Анна еще раз пыталась выскользнуть, но он крепко ее держал. А рядом раздавался смех, удары по столу, гармоника наяривала все быстрей и быстрей, как и они с Грубечем.

Потом все кончилось. Грубеч выпрямился, Анна схватила его за руки, и тогда он снова взял ее, а гармошка за стеной выпевала теперь грустно, и кто-то пьяно всхлипывал. Грубеч снова выпрямился.

— Теперь довольно,— сказал он.

Но ей чудилось, будто Грубеч железной цепью обмотал ее тело, зажав другой конец в руке. Она потянулась за ним из одного угла в другой. Снова закряхтела лестница, пьяный убегал от гармошки, которая разбередила его сердце. Он скатился на несколько ступенек назад, потом встал на ноги и выкатился во двор. Анна залезла на ящик и обхватила колени руками.

— Слушай, а чего это вдруг так тихо?

— Гармошка больше не играет.

Стояла полная тишина, на тысячу футов ушел в землю Мунков погребок.

— Здесь так хорошо и темно,— продолжала Анна ясным, ничуть не хриплым голосом,— никто на тебя не глядит. Давай останемся здесь, не выпускай меня отсюда, не заставляй меня больше ходить по этому двору.

— Ты чего? Тебе хочется на всю жизнь остаться в подвале? Нет, тебе надо прыгать и танцевать. Другие положат голову туда, где теперь лежит моя.

— Нет, нет, так не будет, никогда, ни за что! Уж скорее этот двор превратится в сад, а дома в деревья. Ах, Грубеч, иди ко мне. У меня вдруг озябла спина.

— Это Мункова печка погасла.— Они разжали объятия, прислушались. Где-то кто-то кашлял, может, тот самый, который уже кашлял, когда Анна ждала в подъезде.

— Тебе пора...

— Ну, еще немножечко...

И вдруг на них словно повеяло холодной, серой пылью. Тоскливо стало им, даже доскам у стены стало тоскливо, даже ящикам в углу. То погас Мунков фонарь.

— А теперь ступай!

Он взял ее за руку и потащил наружу.

Досадливо и хмуро дома обступили двор на рубеже между

днем и ночью. Злой сквозной ветер ворвался в подворотню, ударил ей в лицо. Анна хотела вернуться, но лаз уже закрылся. Она сделала робкий шажок, еще помешкала. Раньше других, наклонясь вперед и подняв плечи, словно так легче согреться, прошагал по двору Мартин.

Снег, что веселыми звездочками порхал между окон, падая на землю, превращался в грязное месиво, по которому шныряли дети. Один, совсем маленький, стоял в стороне, запрокинув голову и разинув рот: он хотел заглотать снежинки. «Это Зебальдов малыш, летом его еще от земли не видно было»,— подумал Грубеч.

— А ну, малыш, иди сюда.

Мальчик опасливо подошел к Грубечу, и какое-то время они молча разглядывали друг друга.

— А у меня отец умер! — вдруг с гордостью сообщил мальчонка и растопырил руки, как делал его отец, когда, бывало, расхвастается. Мальчик подошел еще ближе, с любопытством поглядывая на Грубеча. Но Грубеч вдруг весь сник, закрыл глаза и как-то чудно затрещал сплетенными пальцами. Потом он расплел пальцы, вытянул руку и, схватив мальчика за подбородок, поднял его голову. Малыш от страха совсем опешил, еще никто никогда так не поднимал ему голову.

— Ну ладно, играй дальше,— сказал Грубеч.

Малыш отбежал на прежнее место и разинул рот. Но вдруг, вспомнив что-то важное, метнулся обратно и прижался к коленям Грубеча.

— Его завтра похоронят,— шепнул мальчик,— а он мне как-то раз сделал бумажный кораблик.

В подворотне Анна наткнулась на Зебальдову вдову. Им пришлось вместе пережидать, покуда выгрузят Мунковы ящики.

— Ну, выкладывай, как дела? — сказала вдова.

Анна промолчала, только сжала губы и поглядела на ее блузку, где была расстегнута верхняя пуговица.

— Смотри,— в сердцах выкрикнула женщина,— как бы с тобой не стряслось то же, что и с Катериной.

Анна сделалась еще тоньше и прошмыгнула мимо колес.

— Ты чего это пришла спозаранку?

— Так ведь уже темно.

— Это из-за снега, вон даже лампа еще не горит.

Анна влезла на ящик и забилась в темноту, чтобы казалось, будто ее здесь нет. Вдруг что-то мягкое скользнуло по дощатой стене, осторожно распластавшись по ней.

Это у Мунка засветили фонарь. Анна тихо поднялась на ноги и перешла в другой угол.

— А теперь можно?

— Теперь можно.

— Скажи, Грубеч, что было с Катериной?

Грубеч рассмеялся.

— Откуда ты про нее знаешь?

— Зебальдова вдова рассказывала.

— Ладно, слушай, если тебе так хочется, нет, останься где есть, можно и так рассказывать. Катерина была моя первая любовь. Она во-он там жила. Всякое лето я находил работу, за два часа езды отсюда. Как-то вечером я возвращаюсь и встречаю на улице Пауля. Он уже и тогда здесь жил, через стенку от Катерины.

«Ну, как поживает Катерина?»

«А как ей поживать, она вся высохла и тоскует». Я хочу броситься к ней, но тут меня осеняет. «Впусти-ка меня к себе,— говорю я,— чтоб мне поглядеть через замочную скважину». Только разочек поглядеть, что она делает, когда меня нет в городе. Паулю это пришлось по вкусу, и мы оба поднялись с ним наверх. Я поглядел в скважину, а она сидит там и шьет, малость бледновата с виду, у меня прямо на сердце потеплело. Я уж совсем было ее окликнул, да тут к ней постучали, она вздрогнула, покраснела, верно, думала, что это я, а это была соседка, и она снова побледнела. Тут я решил войти к ней, а потом подумал: хорошо бы еще малость поглядеть, как она меня ждет.

Я говорю Паулю: «Не проболтайся, что я здесь!»

Пауль ни в жисть не проболтается, ему такие штуки по нраву. День и ночь я торчу перед дверью, она совсем иссохла от ожидания. Мне все хочется к ней войти, у нее прямо на шейке, прямо на руках написано, как она меня ждет, мне бы к ней лечь, сил больше нет терпеть, но и так оно тоже хорошо, глядеть, как она ждет. Она все время сидит за столом, все время глядит на дверь, иногда вздрогнет, иногда подбежит к окну. Однажды она закрыла лицо руками и заплакала. Тут уж я и вовсе не мог больше вытерпеть, но ведь и так оно тоже хорошо, глядеть, как она ждет. Она все время сидит за столом, все время глядит на дверь, иногда вздрогнет, иногда подбежит к окну. У меня больше нет сил на это смотреть, мне хочется окликнуть ее во весь голос, но нет, ничего я не окликаю, хоть оно и тяжело, а все равно хорошо глядеть, как она ждет. Как-то она поднимается по лестнице, а я шмыгаю по лестнице вниз, никто меня не признает, я весь съеживаюсь, делаюсь маленький и старенький. Она вся белая как снег. Мне хочется потрогать ее грудь, но ведь не потрогать — это тоже хорошо. Настает зима, она становится совсем как палочка. Я вижу, как она плачет, плачет кровью. Я больше не могу выдержать, я должен войти, но ведь слушать, оно тоже хорошо, почти так же хорошо, как сама любовь. Она болеет все тяжелей, все хуже. Мне бы войти к ней, но нет, я не могу. Хоть бы уж Пауль меня предал — но Паулю это по нраву. Иногда в дверь стучат, она соскакивает с кровати, так соскакивает, что я и сам думаю, кто бы это мог постучать, верно, я и постучал. И прямо диву даюсь, когда в дверь входит кто-нибудь другой. А она с каждым днем громче кашляет, с каждым днем делается меньше, и весной все подходит к концу. Это было ужасно, а все равно хорошо, почти так же хорошо, как настоящая свадьба.

— Зачем ты это рассказываешь, ведь это неправда.

С жалобным взвизгом завела свою песню гармоника. И словно гармоника подала им сигнал, они обняли друг друга, они сплелись в объятии. Все на своем месте, больше

не надо искать, все в порядке, думала Анна, право же, все в порядке. А за стеной отчаянно всхлипывал пьяный, тот, что всегда всхлипывал, когда заиграют на гармошке.

Как-то под вечер во двор зашел Шленкер и быстро, никем не замеченный, побежал к Мунку. У Мунка он просидел от силы полчаса. Приходить ему, в общем, было незачем. Теперь обо всем заботился Мунк, он и деньги доставлял в город. Но когда Шленкер ехал по улице, а огни брызгали зеленым и красным цветом, а буквы плясали в воздухе, его вдруг потянуло к этому желтому газовому рожку, который теперь коснулся его плеча тонким, хилым пальцем, а может, у него была другая причина, он и сам толком не знал, он сердился на себя за то, что пришел, он хотел уйти поскорей.

Хоть сапоги у него были прочные и красивые, сырой, прилипчивый снег скоро забрался внутрь. Замерзли пальцы, отяжелели ноги. Шленкер в нерешительности остановился: а может, стоит дотянуть такие тяжелые ноги до какой-нибудь машины и уехать домой? Он еще раз поглядел по сторонам, тихо было во дворе, в сером вязком снегу дотлевал зимний день.

Что-то мягкое, теплое юркнуло в подворотню мимо Шленкера, и его рука потянулась к мягкому, теплому. Анна остановилась, посмотрела, чтобы разглядеть в темноте, кто это такой. Свободной рукой Шленкер взялся за бороду и отставил большой палец. Анна как глянула на этот палец, так сразу начала громко звать на помощь. Шленкер тотчас ее выпустил и покачал головой. Анна выскользнула на улицу, Шленкер тоже хотел уйти, не за ней следом, а просто к себе домой. Но с улицы примчался кто-то, слышавший Аннин крик, и загородил дорогу. Это был Блондин. Шленкер хотел выйти, толкнул его в грудь. Блондин схватил его за рукав. Шленкер вырвался, Блондин успел схватить его за бороду, борода была редкая и потрескивала. Блондин перешел в наступление, схватил Шленкера за грудь, у Шленкера был набитый карман. Блондин протянул пальцы к его

горлу, но всякий раз между пальцами забивались клочья Шленкеровой бороды, противной, сухой бороды. Панический страх овладел Шленкером, сердце билось где-то в горле, мысли метались: лица его дочерей, его дом, его накрытый стол. Но и у Блондина сердце билось где-то в горле, но и у него метались мысли: Тони здесь нет, скоро настанет лето, Зебальдова вдова посулилась...

Хватка ослабела, Шленкер перевел дух. Блондин пробормотал что-то невнятное и убежал во двор. А Шленкер выбежал на улицу. Сердце медленно опускалось из горла вниз.

Он был стар и болен. И был крайне разочарован.

В последние дни у Мартина сделалось очень усталое лицо, которое хоть и не выражало скорби, но уж наверняка выражало удивление оттого, что ежедневная дорога всякий раз оказывалась длинней, чем он предполагал. Впрочем, она и на самом деле была длинней, чем какой-нибудь проселок в родном краю, он вступал на эту дорогу невыспавшийся и недовольный, просто диву даешься, до чего можно устать от всего мягкого и нежного, чем окружала его Мария. Анна, та в последнее время ни о ком не заботилась, ни о чем не думала — ни о сне, ни о бодрствовании, ни о еде, ни о питье, ни о Мартине, ни о Марии. В этот день, когда Анна отскребала пол, она стремилась теперь делать за Марию тяжелую работу, шло в ход все, что могло побыстрей прогнать день и привлечь темноту. Тяжелая работа — это как раз то, что надо, она усмиряет тело, заставляет его забыть о своем одиночестве; ей припомнилось вдруг лицо Мартина, усталое, разочарованное, каким оно стало с недавних пор. Она испугалась при мысли, что чуть не забыла выбежать ему навстречу, хотя в последнее время она так не делала. Мартина она встретила на углу. Хотя последние недели Анна совсем не занимала его мысли, лицо у него сразу просветлело, когда он увидел, как она мчится к нему. Он погладил ее по волосам, и они пошли, обнявшись, вдоль ограды. Но войдя во двор, Мартин вдруг забеспокоился и поднял глаза к окну своей комнаты, где горел свет. Анна тоже учащенно задышала. Они отпрянули друг от друга

и дальше шли молча, одинаково склонив голову, а их сердца мчались в разные стороны. Во дворе стоял Пауль и вся остальная компания, они громко разговаривали, завидев обоих, на мгновение умолкли и продолжали уже шепотом. Они удержались от смеха, но когда оба прошли, фыркнули им вслед.

— Чего они смеются? — спросил Мартин, снова взяв Анну за руку.

— Сдается мне, это они над нами.

— А чего над нами смеяться? — пробормотал Мартин.

— Зря ты ее ждешь,— злобно процедила Зебальдова вдова.— Не придет она. Я тебе точно говорю. Она болеет, мне Мария сказала.

Грубеч снова спустился вниз, сел на привычное место и пристально поглядел в угол, но никто в том углу не сидел. Он раздвинул колени, растопырил пальцы, просто сил нет терпеть. Как страшно не иметь того, что тебе нужно. Гармоника рядом снова затянула бесконечную жалкую нить, и снова всхлипнул все тот же пьяный. «А, чтоб его черти взяли!» Грубеч вышел во двор, поднял голову; словно крепости, высились стены домов; пусть она сойдет вниз, подумал он. Да, там, наверху, горел свет за пестрыми задвинутыми занавесками, которыми так гордится Мария. Мартин — это вам не Зебальд, у того болтались на окне какие-то лохмотья вместо занавесок, а за ними побои и любовь выглядывали сквозь дыры во двор. Вот у Мартина днем прибрано, а ночью завешано. Если прийти к нему, тебя не ткнут носом в какой-то свальный грех, нет, там осторожно раздвинутся и уступят тебе часть своего места и часть своего света. Словно отходы из Мартинового дома, пробилась сквозь щель между занавесками полоска света и вытекла во двор. По этой полоске сбежал вниз робкий и тонкий, почти благозвучный кашель.

Грубеч решился. Он пересек двор.

Он постучал и вошел. Мария издала свое обычное удивлен-

ное «А-а-ах». Радость в один миг высветила серое, утомленное лицо Мартина.

— Она что, опять болеет? — спросил Грубеч и шагнул к Анниной постели. Анна сама рывком поднялась и вытянула руку, чтобы хоть коснуться этого гостя, потрогать хотя бы тень его тени. Но Грубеч быстро отвернулся и сел.

Выздоровеет, подумалось ему.

В остальном все было, как в первый раз. С такой же скоростью накрыт стол, приготовлена еда. Только голова Марии, когда та раскладывала еду по тарелкам, придвинулась сегодня чуть ближе к Грубечу, только браслеты Марии звякали сегодня чуть громче.

— Любит она их,— сказал Мартин,— каждый месяц получает новый.

— Не надо бы вам так надрываться, Мартин, вы совсем исхудали за эту зиму.

— Как же иначе, Грубеч, когда у тебя есть постоянное место и своя семья?

Из всех людей он единственный, кто заметил, до чего я устал, подумал Мартин.

— Какой смысл вечно работать, надо бы вам и отдохнуть.

— И рад бы, да нельзя.

Я и в самом деле совсем раскис, подумал Мартин, я только сейчас вижу, до чего я устал.

Но тут вдруг Мария сказала:

— Он вечно усталый, а вот я никогда. Родись я мужчиной, я бы сумела за один день отстроить целый город.

— Ну-ну.

— Право слово, целый город, с домами и с улицами.

Грубеч рассмеялся. Я бы лучше один с ним посидел, чтоб он был только для меня, подумал Мартин.

— А вот вина сегодня нет. Знай мы, что вы придете...

— Да меня словно как занесло попутным ветром...

Занесло попутным ветром, подумал Мартин, пожалуй, не так уж это и плохо, когда нет ни стола, ни кровати, всюду — в гостях, никакой клади, можно слоняться с утра до вечера.

Грубеч положил руку на спинку Мартинова стула.

Я всегда живу здесь, подумал он, а Мартин один год. И сразу вокруг него встали четыре стены, а над головой легла крыша. Будь все это у меня... Такие вот четыре угла, и лампа, и женщина, совсем молоденькая, тихая, всегда одна и та же, это ведь лучше всего, вот Анна, например, с ней бы я поладил. Если бы я только мог, да вот не могу же.

Анна выпрямилась в темноте на своей скамейке, сжала колени, все лица глядели в другую сторону, но ей казалось, будто одно местечко под одеялом сейчас забьется громко-прегромко, как сердце, чтобы все слышали. Она взглянула на спину Грубеча, широкую, чуть наклоненную вперед, обтянутую тесной заношенной синей курткой. И когда Грубеч ушел, а остальные легли спать, Анна продолжала неотрывно глядеть на спинку стула, как глядела перед тем на спину Грубеча.

На другой вечер Мартин и Мария легли рано. Анна встала с постели и шмыгнула в дверь. Голова у нее еще покруживалась, и ступеньки плясали под ногами. Уже в дверях она наткнулась на Грубеча.

— Я так и думал, что ты придешь.

Они спустились вниз. За последние недели Анна порумянела и окрепла, но теперь, после болезни — словно ей все это выдали напрокат, а потом забрали обратно,— она стала точно такой же, какой была летом. Она очень скоро устала, губы у нее побелели. Грубеч гладил ее волосы, ее руки, чего ни разу до сих пор не делал. Анна задержала дыхание, боясь спугнуть хоть одну ласку.

— Ну, чего ты вздыхаешь?

— Я тебя больше люблю, чем родного брата, больше, чем покойных родителей, больше, чем бога на небе. Ты не поверишь, Грубеч, раньше я думала, что в таком дворе надо сразу умереть. А теперь меня никуда больше не тянет. Все хорошее, что только есть на свете, тут было. О господи, фонарь уже гаснет.

— Ничего, как погаснет, так и загорится. Такой день кончается в два счета.

Но вдруг, когда Анна уже встала, он удержал ее.

— Нет, твоя правда, не уходи. Ты еще больная, откуда мне знать, придешь ли ты завтра.

— Скоро зиме конец. Скоро придет река.

— Какая такая река?

— Да ты что?! Широкая, длинная, блестящая река. Вот тогда все и начнется.

— Да что начнется-то?

— Не знаю что. Все начнется. Сейчас — это ведь просто так, это ерунда.

— Ишь ты, а тебе вроде пришлась по вкусу эта ерунда, ты вроде неплохо освоилась с этой ерундой.

— Какой ты злой, Грубеч! Уходи.

— Ладно.

— Грубеч, а плот, он какой бывает? Большой? Или маленький? На нем можно спать? А танцевать? Он быстро плывет? Куда плывет? Зачем? А теперь мне пора. Они сейчас встанут.

— Ну и пусть себе. А ты все равно останься! Что есть, кроме тебя, у такого горемыки, как я.

Как-то воскресным утром Анна подошла к столу, накрытому для кофе свежей скатертью. Мария и Мартин уже сидели за столом, между ними лежал пирог с изюмом, едва надрезанный, и оба молча подбирали крошки со своих тарелок. Анна взяла себе большой кусок и начала весело уписывать за обе щеки. Зимнее солнце пробивалось сквозь занавески, тоже заново натянутые, лизало чисто вымытые, пахнущие мылом половицы, поблескивало на посуде и на хмуром лице Мартина, пласталось по стене. Из старого шкафа солнце выманило забавную тень, собаку с хвостом и с мордой, и усадило ее на стену. Анна засмеялась одними глазами, наверное, эта собака прибежала за ней, та самая собака. Анна обрадовалась, потом вдруг опасливо поглядела по сторонам, словно чем-то себя выдала. Ее взгляд задержался на лице Марии. Та тоже пристально глядела на стену, глаза у нее тоже смеялись, какое-то воспоминание смягчи-

ло уголки ее гордых губ. Анна почувствовала, будто чужая рука, разорвав ее грудь, проникает внутрь и, вынув что-то, тянется обратно. Какое-то мгновение рана причиняла боль, потом лишь слегка саднило, потом все прошло. На том месте, откуда рука что-то вынула, осталась пустота, это не было приятно и не было неприятно, это было вообще никак. Анна доела свой кусок пирога, допила свою чашку, а сама не переставала разглядывать Марию. Да, Мария очень хороша собой, ровно очерчены ее черные брови, блестят глаза, облаками лежат на белом лице тени густых ресниц, грудь крепкая и теплая, хороший рост, а сама она вся податливая и гибкая. Руки, которыми она сейчас убирала со стола кофейный прибор, были мягкие и нежные, почти не покрасневшие от работы. Прежде Анна смотрела на эти руки с откровенной неприязнью, теперь — не без удовольствия. Она рассеянным взглядом обвела комнату: всюду солнечный свет и порядок, нигде ничего такого, на что следует глядеть с ненавистью или неприязнью. И тогда ее взгляд с отвращением остановился на добром усталом лице брата.

После обеда они собирались пойти погулять, но из этой затеи ничего не вышло. Холод обернулся липучим городским снегом, а снег очень скоро перешел в дождь, размачивающий платья и сердца. Едва стемнело, Анна, как и обычно, украдкой шмыгнула вниз. Она знала, что это не имеет смысла, но ее сердце так привыкло сильнее биться об эту пору, что забилось и сейчас. Она ждала и хотя точно знала, что ждет напрасно, это было все такое же привычное напряженное ожидание. Она насквозь промокла, но ей казалось безумием подняться наверх, в комнату. Уже наступила ночь, и в погребке у Мунка стоял разноголосый шум. Шум не мешал Анне, скорее наоборот, хорошо, что хоть где-то сохранился шум, не то на свете стало бы совсем уж тихо. И еще хорошо, что горит фонарь, фонарь отбрасывал на землю световой круг, если стать в этот круг, будешь чувствовать себя в полной безопасности. Вот только дома были слишком высокие, ночью они еще выше, чем днем, и уж кто угодил

в этот колодец, тому выхода нет.

Снизу поднялась Зебальдова вдова, увидела, как Анна стоит с мокрыми волосами посреди лужи, прыснула и выкрикнула:

— А ты бы лучше в погребок заглянула.

Анна серьезно кивнула, присела на корточки перед окнами погребка и поглядела туда. Потом, снова отпрянув к свету, возбужденно закричала:

— Мартин! Мартин!

Занавески разъехались, Мартин выглянул.

— Мартин! Где сейчас Мария?

— У соседей! А что случилось?

— Спустись ко мне, только быстро.

Немного погодя Мартин спустился, моргая под струйками дождя.

— Мартин, глянь-ка.

— Да зачем?

Сердито нахмурясь оттого, что сырость непременно погубит его воскресные брюки, Мартин опустился на колени возле Анны и тоже заглянул в погребок. У печки сидел один из рыжих близнецов, он-то и наяривал на гармошке. Тони и малорослый Блондин топтались вокруг него, после каждого такта бодаясь все равно как козлы. На столе сидела Зебальдова вдова, перед ней Пауль, зарыв голову в ее юбки. А совсем позади, в уголку, сидели Грубеч и Мария. Свои косы Мария обмотала вокруг Грубечевой шеи, голая грудь сверкала на весь погребок, чуть не на весь двор. Мартин так больше и не поднялся с колен. Прямо на коленях пополз он по торцам через лужу и вниз по лестнице. Рыжий отложил гармошку. Пауль поднял голову, все удивленно воззрились на дверь и на пол. Кто это там ползет? Мария встала с места, неспешно перекинула косы за спину, закрыла грудь. Она стала чуть бледней, чем обычно, но смех еще не до конца исчез из ее глаз. Вдруг прямо с пола Мартин прыгнул на Грубеча. Кто-то схватил его сзади за пиджак, но Мартин просто обхватил руками шею Грубеча и положил голову ему на плечо.

— Страшное приключилось со мной сегодня,— воскликнул он,— ты и представить себе не можешь, до чего страшное!

Грубеч слушал, опустив голову, потом провел рукой по волосам Мартина, но внезапно передумав, схватил его за ворот и силой усадил на скамью. Все подошли поближе к столу. Грубеч взял бутылку и до отказа засунул ее горлышко в рот Мартину. Мартин всхлипывал и отбивался. Потом всхлипывание перешло в кашель. Потом Мартин стих. Потом весь побагровел, потом сделал бессмысленное и размашистое движение рукой, словно хотел поймать в воздухе что-то, что от него улетело.

Мария поднялась наверх, выдвинула все ящики, вокруг нее лежала куча мелких вещей, быстрыми и ловкими движениями она раскладывала их на столе. Дверь у нее за спиной открылась, то были шаги Анны. Мария подняла брови.

— Это я,— сказала Анна.

Мария обернулась в радостном изумлении. Какой непривычный голос, и вообще Анна очень изменилась, девочка стала взрослой. Анна молча подошла к столу, молча поглядела. И вдруг — Мария как раз укладывала в корзинку свои чулки,— вдруг Анна сказала:

— Ах, Мария, у тебя их так много, а у меня только серые, толстые, еще из дому. Ты мне не оставишь одну пару светлых, тонких?

— Конечно, оставлю,— радостно откликнулась Мария.

Она продолжала укладываться, но тут Анна сказала:

— Не сердись, я хочу еще что-то у тебя попросить. Ведь у тебя так много нижних юбок, оставь мне одну, зеленую, ну пожалуйста.

— Само собой,— спокойно ответила Мария.

Она кончила складывать вещи, закрыла корзинку, прибрала комнату, оделась и сказала Анне:

— Ты уж не сердись, но такой, как я, скучно коротать всю жизнь с таким, как твой брат.

— Я не сержусь, я тебя очень хорошо понимаю.

Они протянули друг другу руки, даже их лица сблизились почти вплотную, но потом каждая заглянула в глаза другой и увидела точки, крохотные, как булавочные головки, злые, недобрые. Они разняли руки и разошлись.

Неделю спустя Анна проснулась среди ночи и растерянно огляделась по сторонам. Она была одна, она лежала в одежде поперек большой, белой, еще не разобранной постели. Ну, Мария, та ушла, Мартин с тех пор так и не выходил из кабачка. Анна села на постели. С чего она вдруг проснулась? Она легла снова. Но заснуть оказалось не так-то просто. Все та же точка в ее теле сопротивлялась, не желала спать, требовала пищи, стонала и стучала, стучала на всю ночную комнату. С чего она вдруг развоевалась, эта точка, ведь все умерло, сердца больше не было, почему же она стучала как настоящее сердце? Анна поднялась и со вздохом, измученная, против воли, побрела во двор, словно уступая избалованному ребенку. За это время снова похолодало, лужа чуть подмерзла, но так, что под ногами сразу хрустнуло и в туфли протекла сырость. Сложив руки на спине, Анна ходила по кругу, как того требовало ее лоно.

Вот он какой был, теперь я точно знаю, ему только это, только, только это и было нужно, и ничего больше, ничего, ничего.

У входа в погребок стоял Блондин, у него не было денег, чтобы зайти, он ждал Тони. Анна внезапно увидела его, он смотрел с таким безразличным видом, так сонно и забывчиво, был такой бледный и худой, это внушало доверие, он ведь почти мальчик, его незачем стыдиться. Она боязливо подошла к нему, дернула его за рукав. Он заморгал, облизал губы языком, они спустились на несколько ступенек, прижались друг к другу, но Блондин был трусоват, все время прислушивался, потом отпустил ее.

— Знаешь,— сказал он,— сам я не очень в этом разбираюсь, но ведь у нас во дворе, слава тебе господи, есть и другие.

Анна снова побрела наверх, снова легла поперек постели

на живот. Теперь ей бы, пожалуй, надо заплакать, она даже сделала несколько движений шеей, плечами, щеками, потом начала подпевать гармошке, которую отсюда было еле-еле слышно, и так дождалась утра.

Весенним утром, когда свет неизвестно откуда капал на крыши, с крыш на подоконники, с подоконников на мостовую, рыжие близнецы, и Тони, и еще несколько лежали на привычном месте и старались перехватить хоть малую толику солнца, которое можно было скорей учуять, чем увидеть. И снова во дворе стояла тишина. Мальчуган, тот, что всегда опаздывал,— боже милостивый, какая тесная, изношенная курточка была на нем сегодня утром,— трусил через двор, жуя горбушку, бежать уже все равно не имело смысла. После него не показывался никто. Котенок возник среди булыжников, начал играть с солнечными зайчиками. Женщина, вытряхивавшая постель, глянула на небо, прежде чем отойти от окна. Красная полоса над крышей противоположного дома стала еще красней, как становятся губы весной.

Вдруг котенок запрыгал навстречу двум башмакам, которые возникли в подворотне, навстречу двум новым дружкам.

— Дак ведь это Грубеч,— удивился Пауль,— откуда его принесло?

Все повернули головы.

— Эй, Грубеч! — первой окликнула Зебальдова вдова, потому что мужчины молчали.— Ты откуда пожаловал в своих семимильных?

Грубеч сел на ступеньку, близнецы раздвинулись.

— Меня вроде как потянуло сюда.

— Так ведь ты, поди, уже дошел до самой границы...

— Ну и что?..

— А потом ни с того ни с сего вернулся.

Грубеч сгорбился, прижал подбородок к коленям и задремал на солнышке. Все кругом молчали и разглядывали Грубеча по частям, то, что лежало в их поле зрения. Вдруг Грубеч громко засмеялся.

— Уж верно, я неспроста вернулся.

Тут он уложил голову на колени, а остальные снова начали мерить его взглядами, недоуменными и недоверчивыми.

Потом он снова поднял голову и сказал:

— Скоро я уйду и уж тогда до зимы не вернусь.— Он посмотрел Паулю в лицо: — Слушай, Пауль, внизу-то последнее время было не очень чтобы, смогу я у тебя приютиться, когда вернусь назад?

Пауль начал теребить пуговицу.

— Ясное дело, почему не смочь, да только, видишь ли, дело такое, мы тут съехались, Зебальдова вдова и я, мы как настоящая семья, и парнишка при нас, и еще я теперь что есть сил ищу работу, а у нее есть один знакомый, уж верно, я что-нибудь найду.

— Ну ладно, Пауль, чего тут разговоры разговаривать, да и лето еще не пришло.

Он встал и пошел через двор к Мунковой лестнице.

— Зря ты ему так ответил,— промолвила Зебальдова вдова.

— Ерунда! Как я еще мог ответить?

— Нет, это ты зря. Вот и с моим первым мужем все было в аккурат так же. Поначалу дружба, водой не разольешь, много шуму, много крику, а чем все кончилось?..

— Хватит! — перебил Пауль.— Твой муж запутался в рыжих косах да так и повис, только и всего.

— Нет, вовсе не только, и зря ты так ответил...

— А теперь заткнись, не то...

Пауль высоко поднял брови и на полуслове расхохотался.

Оказывается, по Мунковой лестнице снизу вверх полз на четвереньках человек, который чуть не уткнулся Грубечу в колено. Грубеч прижался к стенке и хотел его пропустить. Человек этот был Мартин. Странное дело — за последние дни у него стали такие длинные, такие страшно длинные руки и ноги, что хоть узлом их завязывай. И одежда тоже стала какая-то ненадежная, прямо не одежда, а мокрая бумага. Голова так далеко вылезла вперед, будто изо всех

сил старалась оторваться и улететь подальше от этого нескладного тела. Но беспокойный, неуверенный взгляд пьяных глаз стал и спокойным, и уверенным, когда Мартин увидел Грубеча. У него даже руки будто стали короче, даже одежда стала прочнее. Сперва он хотел робко обойти вокруг Грубеча, но потом раздумал и нерешительно пополз обратно. Теперь он вдруг сделался таким, как всегда, хотя, может, это так казалось, вот только вид у него стал несчастный, щеки запавшие, платье измызганное.

— Смотри-ка, ты опять здесь,— сказал он,— а говорили, ты ушел.

— Да я ушел, а потом вернулся.

— Вот это здорово,— сказал Мартин и подошел вплотную к Грубечу.— Видишь, Грубеч,— тут у него снова вытянулись руки, и он обмотал ими Грубеча,— видишь, мне очень плохо. Остальные здесь, они не больно-то понимают, как человеку может быть плохо. По-ихнему плохо — это когда выпить не на что, но они ошибаются, мне тоже иногда бывает не на что, у меня ведь больше нет работы, но это совсем-совсем другое.

— Не кричи так громко,— сказал Грубеч, пытаясь мягко высвободиться из рук Мартина.— Ты только погляди, во дворе полно народу.

— Это неважно, Грубеч. Не очень важно. Пусть их будет полно. Слушай, я не кончил про плохо. Поначалу думается, тебе плохо оттого-то, оттого-то и больше ни от чего, а со временем уразумеешь, что оттого-то для тебя ничего не значит, что тебе плохо, потому что плохо. Дай мне выговориться, Грубеч, с кем мне еще говорить, как не с тобой, семьи у меня больше нет, да хоть бы и была, ведь то, что со мной случилось, оно такого рода, чего потом стыдишься. Родни у меня никакой нет, вот и суди сам, ведь надо же человеку с кем-нибудь поговорить, а с кем, кроме как с тобой.

Кто-то над ним распахнул и захлопнул окно, и сразу же во двор вылетела Анна. Блузка выскользнула у нее из юбки, грудь — из блузки, Анна ее заправила в юбку, блузка выскользнула снова, и Анна бросила все как есть, взяла

Мартина за руку и потянула, но Мартин крепко держался за Грубеча.

— Не лезь ты к нему со своей болтовней,— сказала Анна.

— Анна, разве ты не видишь: Грубеч опять вернулся.

— Да, да, добрый вечер. Не сердитесь на его болтовню.— И она потащила Мартина за собой. Они вошли в подворотню, Зебальдова вдова что-то им крикнула, но Анна свободным локтем ткнула ее в грудь, и мужчины дружно засмеялись. Анна обернулась на ходу и скорчила им рожу.

Грубеч пристально глядел им вслед, потом сел прямо на землю. Зачем он вернулся, можно уходить не откладывая, здесь сколько ни ищи, ничего не найдешь. И все-таки здесь он дома.

Кто-то глядел на него, он быстро обернулся: никого. Хотя нет, сзади притаился Зебальдов парнишка. Серый и маленький, все равно как камешек в мостовой. Парнишка смотрел на Грубеча. Глаза у него были на удивление круглые и широко распахнутые, и мокрые ноздри тоже были круглые и жадные, будто вторая пара глаз, потому что с одной не управиться. Солнце двумя пятнышками лежало у него в глазах. В этих пятнышках отразился и двор, и окна, и Грубеч. Грубеч подмигнул и поглядел на себя. Вот сидят два Грубеча, скрестив ноги, в дырявой куртке, только дыры как странные лица, а прорехи как разинутые рты.

Малыш подъехал поближе к Грубечу. Как угадывают запах цветов за садовой оградой, так и он своими черными жадными ноздрями угадывал за оградой взрослых лохмотья и прорехи, раны и болячки. Вдруг прямо из воздуха раздался чей-то недобрый голос:

— Эй, ты, Зебальд!

Малыш вздрогнул и затрусил через двор. Хоть он и без того был крохотный, а тут стал еще меньше. И как ни мало могли вынести его косые, поникшие плечи, на них лежала скорбь.

Зебальдова вдова сказала Паулю:

— Ступай поговори с ним, перехвати его.

Пауль долго торговался, потом все-таки спустился вниз. Грубеча он нашел на том же месте.

— У меня есть деньги, мне дали аванс, пойдем к Мунку.

— Нет, незачем.

— Понимаешь, Грубеч, надоела она мне со всеми своими потрохами. Но коль скоро мы съехались, а мебель там уже была...

— А ты здорово растолстел, Пауль, вон какой животище нагулял.

— Какое там растолстел, это из-за жилетки.

— Да, верно, это Зебальдова жилетка. Мы ее вместе покупали.

— Вы вместе? — Жилетка смешно трепыхнулась на животе Пауля.

— Смотри, как бы она и еще чем тебя не наградила от покойного мужа.

— Грубеч, ну пошли к Мунку.

— Нет, я ведь сказал.

— А над чем ты смеешься?

— Над тобой, Пауль. Дай срок, твой живот еще усохнет, как Мунков фонарный столб.

— Дался тебе мой живот.

Вот бродяга, подумал Пауль, и чего он не поплыл дальше, и чего он вернулся? Пауль сплюнул.

— Чего тебе не хватает, Пауль? Хочешь, будь толстый, хочешь, будь тонкий, мне-то не все едино?

— Так как же, Грубеч, пойдешь со мной?

— Нет, нет и нет.

Пауль бросил Грубеча и убрался восвояси. В горле у него все сжалось, словно его веревкой обмотали.

Я ведь самый видный во дворе и самый сильный, думал он, куда видней и сильней, чем Грубеч. И он притопнул большим новым ботинком. А стука не получилось.

Удушливым и пыльным летним вечером — гроза прошла стороной, и солнце колотилось во дворе, как пестик в ступке,— Шленкер вышел из погребка. В желтом солнечном

свете раскинулся перед ним двор, светилась каждая пылинка. На камнях лежала лопнувшая жестяная банка, она раздулась и поблескивала, гнилостный запах поднимался от камней. И чего меня сюда принесло, думал Шленкер, мне хочется домой, к своим. В жизни больше сюда не приеду. Он шагнул во двор, колени у него чуть подогнулись, он упер взгляд в банку, банка вызывающе сверкала серебром, так что глазам было противно. Солнце давило так, словно хотело вдавить его в мостовую. Он взмок от пота, сделал шаг вперед, один, другой, но нет, невозможно пройти по этому желтому двору, по морю и то легче, мне страшно, подумал Шленкер, но это какой-то ненастоящий страх. Он промокнул пот платком. Потом он снова поглядел на банку, которая раздувалась под солнцем. Тут что-то защекотало его спину, кто-то смотрит мне в спину, кто-то преследует меня.

Нельзя останавливаться, страх гнал его в открытое море, он закрыл глаза, солнце давило немилосердно, но было холодным как лед, вот он уже достиг банки, и тут его силы иссякли, он сдался, он пошел ко дну, ну и ладно, они глядели изо всех окон, как он идет ко дну, но один все время его преследовал, шел за ним по пятам, и этот один не даст ему утонуть. Страх гнал его дальше, впереди завиднелась гавань, черная дыра подворотни, может, счастье еще улыбнется ему. А тот, позади, наплывал, был уже близко, Шленкер барахтался из последних сил, оставался еще кусочек, но такая глубина, там плавали обрывки бумаги и вишневые косточки, вот плавать бы с такой же легкостью, как они. Он взмахнул рукой, наконец он доплыл, тяжелым, прохладным плащом нависла сверху подворотня. Здесь было темно и прохладно, он вздохнул с облегчением, еще немного, и он выйдет на улицу, но тут ему вспомнилось, что именно с улицы пришел в прошлый раз тот длинный и тощий, наверняка этот длинный видел и сегодня, как он заходит во двор, а теперь стоит на углу и подстерегает его. Я никогда больше не попаду домой, сказал Шленкер самому себе. Он испугался. Повернуть назад он не мог. Лучше всего остаться

здесь, скрываясь в темноте. Он сел на землю, чего не делал никогда в жизни. Он вздрогнул, он услышал какой-то шорох. Может, это и есть тот, кто его преследует, но здесь темно, и преследователь, конечно же, потерял его из виду. Впереди виднелась узкая полоска света, там подстерегал другой, но подстерегал напрасно. Шленкер уселся навсегда. На веки вечные. Здесь было так прохладно, а главное, здесь можно было сидеть с отвисшей челюстью, и никто этого не видел. У Шленкера было довольно времени, он мог досконально все продумать. Он думал про свой дом, там его сейчас ждут, ну и пусть их, он достаточно ждал в своей жизни, ждал тысячи забавных дел, ждал танцев, ждал передышки, а теперь он сидит здесь. Унылый дом, унылая постель. Он подумал о своей жене и дочерях, особенно о старшей, которую он больше любил. Но здесь было так темно, так прохладно, и если вдуматься, он вовсе ее не любил, она такая глупая, и худая, и расфранченная, он схватил ее за шею, ударил ее по ногам, раз, другой, третий. Он вытер пот и еще раз подумал обо всех, но уже никого не мог себе представить, даже жену и ту нет, она маленькая и толстая, больше он ничего о ней не помнил. Только одно существо он видел перед собой — он видел собаку, крохотную, белую, с розовым носом, она лежала под столом и помахивала хвостиком. Собачка была чистая, мохнатая. Шленкер ненавидел ее, срывал на ней злость, мучил ее, подпалял ей хвост. Собачка завизжала, и тогда он перестал ее мучить, он совсем выбился из сил.

Вздохнув с облегчением, он поднял свои привыкшие к темноте глаза. Прямо перед ним, не сводя с него блестящих глаз, сидел человек. Наверняка он просидел тут все время, все видел, все слышал.

Не издав ни звука, Шленкер отпрянул назад, рот у него широко распахнулся, чтобы издать крик, который наверняка стал бы самым диким, самым отчаянным криком его жизни — если бы Шленкер успел крикнуть.

Грубеч поднялся по лестнице сперва без цели, потом

он прошел по коридору, потом очутился перед дверью. Он постучал, Мартин ответил: «Войдите!» С его отечного, набрякшего лица словно спала пелена, и на него взошли глаза, нос, губы — вот как это выглядело.

— Садись, Грубеч.

Мартин снял ворох одежды со стула и перебросил на кровать. Грубеч огляделся. Непонятно почему, занавески свисали с перекладины узкими полосками, словно кто-то расчесал их большим гребнем. Обезножели стулья и стол, ослепли окна. Но зато появились вещи, которых раньше не было. Клейкая лента на лампе, и в ней жужжат мухи. Открытки, приколотые к лопнувшим обоям, даже новое зеркало возле старого, надтреснутого, которое неизвестно почему не сняли со стены.

— Хорошо, что ты пришел,— сказал Мартин. Его руки начали удлиняться наискось, через стол и дотянулись до Грубеча.— Ты очень кстати пришел, я знаешь как боюсь.

— Боишься? Чего тебе бояться?

— Всегда найдется чего. Когда человек один, он всего боится. Сегодня должен прийти Шленкер. Его кто-то видел. Ну, как он придет ко мне самолично — я один, я не смогу заплатить, если он придет, что тогда? Не в плате дело, мне все едино. Но если он придет, а я один — нет, я его боюсь, ты когда-нибудь видел его большой палец?

— Вот тебе деньги, Мартин, дашь ему, когда он придет, и дело с концом.

— Ах, Грубеч, да какие же они блестящие, круглые, красивые!..

— Ну и что с того? Я их все равно не трачу, ни на еду, ни на женщин. Лучше дай мне отдохнуть.

Мартин сбросил кучу одежды с кровати на пол, и Грубеч лег поперек постели.

Пусть ложится, подумал Мартин, пусть ляжет как следует, чтоб мне не быть одному. Я отойду к окну, я не буду глядеть на него, тогда он будет лежать спокойно, тогда

останется со мной. Я закрою глаза, не буду шевелиться, он подумает, что я сплю, и не станет меня тревожить.

Чего это там внизу, подумал Мартин, что за шум и беготня?

— Так это же Шленкер! — вдруг вскрикнул он.— Грубеч, Грубеч! Погляди, они несут Шленкера, нет, ты только погляди.

Теперь Мартин больше не боится, теперь я могу уйти, теперь он захочет спуститься вниз, посмотреть, что нового есть на свете.

Ну зачем я закричал, подумал Мартин, теперь он захочет уйти, посмотреть, что нового есть на свете.

Но Грубеч лежал и молчал. И Мартин сидел и молчал, опустив голову на подоконник. Немного спустя Грубеч встал. Мартин тем временем успел заснуть, край подоконника резал ему щеку. Грубеч осторожно положил голову Мартина поудобнее и на цыпочках вышел из комнаты.

А внизу, в подъезде, сидели рыжие близнецы, соприкасаясь головами. Они раздвинулись и пропустили Грубеча, потом их головы снова сблизились.

— Он надолго приехал?

— Не знаю.

Грубеч вдруг повернулся и сел между ними. Стояла такая жара, его клонило в сон, а вокруг него все вдруг стало тихо и голо. Рыжие обменялись взглядами поверх его согнутой спины.

— Мне надо вниз,— сказал один другому. Оба встали, Грубеч глядел им вслед, пустота была слева, пустота справа.

С той стороны двора приближалась Зебальдова вдова. Блузка у нее сверху была не застегнута, хотя тощая шея не привлекала взгляда. Зато пояс был туго затянут, зато туфли остроносые, а чулки светлые. Одному богу известно, на какие такие танцы она вырядилась в этот равнодушный летний вечер. Она тащила за собой мальчика, а тот печально и устало позволял этой злой и жи-

листой веревке вместо руки волочить себя. Он споткнулся о жестяную банку, он не прочь бы повнимательней разглядеть ее, но рука тащила его дальше. Он увидел сидящего в дверях Грубеча, он начал в отчаянии дергать эту руку, а мать устремила взгляд на лестницу в погребок, мысленно она уже была там, внизу, позабыв, что за ее рукой что-то тянется. Подошли оба рыжих, остановились, начали втроем говорить и смеяться. Близнецы трогали ее рукав, ее всклокоченные волосы. Для такого дела ей понадобились обе руки, она позабыла про мальчика, и тот через весь двор помчался к Грубечу.

Грубеч поднял голову:

— Ну, что скажешь?

Мальчик подошел к нему совсем близко.

— Сделай еще раз, как тогда.

— Это как же?

— Так.

— Ах, так! — И Грубеч поднял ладонью его подбородок.— Вот. Чего еще? Орех дать?

Мальчик помотал головой, положил руку на колено Грубечу, начал его ощупывать. Вдруг глаза у него стали круглые, и он ткнул указательным пальцем в пуговицу, которая одна и держала куртку Грубеча, толстую перламутровую пуговицу. Грубеч засмеялся и подергал ее. Мальчик разинул рот, от удивления у него совсем потемнели глаза. Грубеч наконец оторвал пуговицу, и борта его куртки сразу разошлись на голой груди, но это Грубеча не волновало, он дал пуговицу мальчику.

Злобный голос вдруг выкрикнул на весь двор:

— Эй, Зебальд, сюда!

Мальчугана сотрясла дрожь, почти непосильная для такого тщедушного, прозрачного тельца. Он покорно вернулся к матери, и та ударила его, говорила с рыжими близнецами, а сама продолжала бить.

Грубеч спросил:

— А где Анна, не скажешь?

— А она несколько дней как съехала. Но недалеко

отсюда, в угловой дом, так оно и лучше.

Вечером Грубеч отправился вниз по улице, его впустили, он спросил про Анну, поднялся. Она стояла одетая, то ли собиралась уйти, то ли только пришла. Грубеч даже и не поздоровался, он смотрел в угол. Анна перебежала через комнату, он поднял взгляд, маленькие светлые точки запрыгали у него в глазах.

Он разглядывал ее маленькие, мятые груди, маленький, серый живот в синих пятнах, красные ноги, от прежнего не осталось ничего, кроме черной треугольной тени внизу живота. Грубеч глядел, в нем зазияла какая-то трещина, это было почти так же страшно, как радость. Он взял Анну.

С этим Грубечем лучше, чем с кем другим, думала Анна. Прилив сменялся отливом. Я держусь из последних сил. Сейчас все кончится.

Анна прижмурила глаза, но ничего не увидела, лицо было далеко-далеко за тысячу миль, а между ними туман, и в тумане расплывчато и неотчетливо всякая всячина — блестящая вода, облака, дома на берегу. Вот и на лбу у нее что-то осталось, это мне нужно, и в теле тоже что-то, чему там не место, оно принадлежит мне.

Все это очень прекрасно, размышляла Анна, но уж скорее бы он оставил меня в покое, ужас как я устала.

А когда он вернулся, во дворе опять было полно народу. И солнце уже нагло блестело на серых лицах рабочих, не успевших отдохнуть со вчерашнего. Ни крошки не перепадало с этих лиц тем молоденьким существам, которые с горькой досадой семенили впереди, существам в пестрых халатиках, мокрых еще от вчерашнего пота. Вот теперь солнце взгромоздило на голову женщине корзину с бельем. Лишь несколько школьников прыгало по двору, они еще не знали, что такое солнце, они думали, это нечто желтое и блестящее. Вышел во двор и Пауль, он был такой сильный и важный, его это все не касалось, на нем была новая куртка, он первый раз шел на работу, шел

один, широко расставляя ноги, будто затеял бог весть какую диковину. Он прошел мимо Тони и всех остальных, те уже разлеглись на земле, смеялись: «Эй, Пауль!» Пауль несколько сник, будто стыдясь своей затеи. В подворотне он нос к носу столкнулся с Грубечем. Чего его принесло сюда как раз об эту пору, когда он наконец уберется отсюда, проклятый пес!

Грубеч улегся. Почти сразу вслед за Паулем явилась его жена, посмеялась, крутя задом, вышла на улицу. Грубеч снова встал. К окну что-то прилипло, там, наверху, что-то светлое, маленькое. Грубеч помахал рукой:

— Спускайся.

Малость погодя малыш незаметной точкой шмыгнул через желтый двор. Грубеч взял его за руку, и они пошли к лестнице в погребок, а другие искоса поглядывали на них.

— Вот пуговица,— сказал малыш,— моя пуговица, никому ее не отдам.

— А чего ты глаза закрыл?

— Здесь так светло.

— Давай спустимся вниз.

Внизу малыш с любопытством огляделся по сторонам, но недолго, потом он положил голову на колени Грубечу и поднял на него глаза, благо так можно было увидеть больше интересного.

— Хочешь остаться со мной?

— Да.

— Хочешь со мной на реку?

— Да.

— Про кашель ты забудешь, мальчик, твоя тонкая шейка забудет про кашель. Я из тебя сделаю лихого парня, заправского бродягу.

— Да.

И вдруг лицо мальчика исказилось горестным страхом. Через узкое оконце Грубеч проследил за его взглядом. По булыжнику вышагивали две ноги в таких черных остроносых штуках и в светлых тонких чулках.

— Это моя мать,— жалобно сказал мальчик.— Мне надо обратно.

Вечером Пауль вернулся с работы. У него отекли ноги.

— Я не привык столько ходить, а ездить себе дороже.

Его жена подошла к нему, обхватила его руками, он был такой крепкий, такой загорелый, хорошо, что он уже вернулся.

Потом она вдруг вскочила, Пауль захромал следом, они поднялись по лестнице и, едва закрыв за собой дверь, полезли в постель. В комнате было еще жарче, чем во дворе, на плите что-то скворчало. Женщина встала, села за стол, положила на него голову. С плиты донесся легкий запах горелого. Пауль тоже встал, тоже сел за пустой стол, запах стал сильней и заполнил всю комнату. Пауль хотел встать, уголок мокрого белья на веревке, натянутой через всю комнату, мазнул его по шее, и он сел снова. Он поглядел на женщину, она сидела на ярком свету, старая, тощая, вся в красных пятнах. Вдруг Пауля охватила дикая ярость и одновременно какая-то дурнота, в голове, в горле, тошнотворная дурнота, новая, он такого никогда не испытывал. Пауль испугался и съежился. Тут его взгляд упал на мальчугана, тот неподвижно стоял у окна на цыпочках.

Курточка лопнула у него на спине, из дыры торчала острая, колючая лопатка.

Внизу, во дворе, стоял Грубеч и махал ему. Малыш только грустно качнул головой.

— Я бы вышел, да они меня не пустят.

Он ответно помахал Грубечу и слабо улыбнулся.

Тут вдруг Пауль встал, оттащил его от окна, принялся избивать, ярость сменилась в нем отчаянием, а он все бил, все бил, словно это могло ему хоть как-то помочь. Во дворе Грубеч поглядел на пустое окно и, повернувшись, медленно побрел в подворотню. Они лежали там вчетвером, Тони как раз встал, а Блондин как привязанный —

за ним следом. Близнецы тоже встали, и один спросил другого:

— Слушай, а тебе нравится, когда он садится между нами?

Грубеч остался один.

Пауль затянул ремень и уже стоял в дверях, малыш, который еще лежал в постели, играя собственными пальцами, поднял голову и сказал:

— Выпусти меня, только сегодня, один раз.

— Нет,— ответил Пауль.

Малыш издал какой-то странный звук. Без помощи зубов, без помощи губ, не шип, не урчание, не всхлип. Пауль обернулся, занес руку, у мальчика опустились книзу уголки губ, только что у него было маленькое, глупое личико, теперь оно стало мрачным и старым. Пауль опустил руку и выбежал, хлопнув дверью. Потом женщина сунула ноги в туфли. Тут малыш вылез из постели и схватил ее за юбку.

— Выпусти меня.

— Нет.

— Ну выпусти.

— Нет.

Женщина выдернула ключ из замка, малыш стоял вплотную к двери, в глазах у него притаился страх, но при этом он хитровато помаргивал. И протиснулся в приоткрытую дверь. Женщина схватила его, оттолкнула, дверь захлопнулась, щелкнул замок. Какое-то мгновение малыш стоял неподвижно, потом всхлипнул, но плач застрял у него в горле. Было жарко и полутемно, окно закрыто, ставни притворены. На полу лежала решетка из тоненьких полосок света, плясали и потягивались тени. Малышу стало страшно, но тут у него как раз начался кашель, он положил голову на сундук, где спал, и начал кашлять, терпеливо и тихо. Тут ему вдруг пришла в голову мысль, он сам себе положил руку под подбородок, и это было очень хорошо. Потом он достал из кармана

пуговицу, пуговица блестела, в ней были две дырочки, два входа, чтоб войти внутрь, а внутри блестело, как и снаружи, ничего общего с этой комнатой, ничего общего ни с одной из тех, которые он когда-либо видел у них во дворе. Там в углу сидел Грубеч, на нем была синяя дырявая куртка, и он был самый главный в доме. Вдруг щелкнул ключ, и малыш молниеносно сунул пуговицу сперва в рот, а оттуда в карман. Вошла женщина, открыла ставни. Малыш наморщил лоб: слишком много света, от него болят глаза. Сразу после нее пришел Пауль, женщина что-то помешала в сковороде, и они сели за стол. Малыша они оторвали от постели и подтащили к столу. Малыш с отвращением разглядывал свою тарелку, но вдруг уголки его рта взметнулись кверху, он навострил уши и подскочил к окну. Рука Пауля догнала его, Пауль начал избивать малыша, но не с отчаяния, как прошлый раз, нет, это были крепкие удары, малыш закашлялся. Пауль перестал его бить, малыш смущенно улыбнулся.

Утром Грубеч наткнулся на Зебальдову вдову.

— Где мальчик?

Сперва женщина кинула на него злобный взгляд, потом собралась с духом и начала с готовностью рассказывать:

— А я его отвезла. Во-первых, его Пауль не обожал. Он ему всегда напоминал моего покойника, это нехорошо, во-вторых, стоит такая жара, а он все кашляет, а у моего первого мужа есть сестра за городом, вот я и...

Они поглядели друг на друга. Женщина подошла вплотную к нему и распустила красные пятна по лицу.

— Мне все без разницы,— сказала она,— я ж не виновата, что такая жара и скука.

Тут она вдруг заметила, что Грубеч смотрит вовсе не на нее, а на котенка у нее за спиной на подоконнике, и, кипя от злости, она убежала прочь.

Ночью через двор прошел Грубеч. Он уходил. Было тихо и прохладно. Отзвучали его шаги. Где-то наверху кто-то закашлялся, потом воцарилась полная тишина.

Он уже достиг подворотни, когда в воздухе прозвенел тонкий, жалобный голосок. Он поднял взгляд, там вроде мелькнуло крохотное белое пятнышко, он вгляделся пристальней, нет, ничего, окно было слепое и темное, как все остальные окна. И тогда он ушел, нерешительно и неохотно.

Кто-то, кому не спалось, может, это и был тот, который кашлял по ночам, услышал шаги и выглянул наружу. А поутру сказал в коридоре:

— Грубеч-то смылся!

К вечеру об этом уже знали все. Едва Пауль вошел во двор, жена бросилась ему навстречу.

— А знаешь, Грубеч-то ушел.

Пауль кивнул, сегодня он чувствовал себя лучше, чем вчера, и ноги у него не так распухли, то ли жара спала, то ли он привык к ней. От него жена перебежала к остальным, жилистая и проворная бабенка, и совсем не так уж плоха на вид, это можно было понять и по взглядам рыжих близнецов.

— Мой мальчишка,— говорила женщина,— он вовсе не уехал, он сидит наверху, я его заперла.

— Ну и хитра же ты, мать! — засмеялся Пауль.

Они прижались друг к другу, все сдвинулись поближе. Потом Пауль вскочил, а женщина закружилась на одном месте. Один из рыжих покачал головой, его гармошка лежала внизу, у Мунка, но он начал разводить руки в стороны и что-то гудеть себе под нос. Слишком надолго засиделась у них грусть и досада. Теперь надо было подманить радость, коль скоро она не приходит сама. Рыжий разводил руками и гудел, жена Пауля кружилась все быстрее, одни подхватывали, другие злились, в окнах показались головы. Мунк зажег свой фонарь.

— Здесь разрешается сидеть только тем, кто заказывает,— сказал Мунк,— я вам не пастор, и у меня не церковь, я не могу пускать всех подряд.

Время от времени в дверном проеме, наполненном тьмой

и холодом, возникал новичок. Какое-то мгновение он нерешительно стоял, оглушенный и ослепленный, потом тяжело плюхался на скамью, потом, захмелев от тепла и шума, вдруг сам начинал шуметь и смеяться. Были и такие, которые вовсе не садились. Такие стоя напивались под завязку и выкатывались назад, на улицу. Рыжий играл все быстрей, словно хотел скрыть, что ушло много больше, чем пришло, что газовые рожки уже прикручены, что печка становится все холоднее. Подавальщицы, зевая, ставили стулья на столы и мыли пол. Рыжий так и остался сидеть на столе и играл в паутине хмеля. Вокруг него покачивались в такт головы. Только бы он не перестал играть.

Но тут дверь еще раз открылась. Еще один вошел со свежим холодом и ярким дневным светом. И это был Грубеч. Рыжий перестал играть.

— Доброе утро.

— Поздненько ты в этом году.

— Да.

— Ну и холодина!

— Да.

— Сядь, выпей.

Грубеч сел, потер руки, потом выпил.

Все глядели на него и думали: интересно, на кого он теперь поглядит?

Грубеч сказал:

— Играй дальше, рыжий.

Рыжий вздрогнул. Гармошка издала тонкий, жалостный звук.

— Ну играй же,— сказал Грубеч.

Рыжий играл, дрожащие, ломкие звуки, он сам боялся своей игры, оборвал, робко глянул на Грубеча. Но Грубеч ничего не заметил, он тем временем спрашивал Пауля:

— Ну, Пауль, что слышно нового?

— Ничего, что тут может быть слышно, работы у меня больше нет.

— Так, значит.

Потом Пауль вдруг сказал:

— Вот тебе пуговица. Это твоя.

— Ах да.

— Понимаешь, он помер, мальчишка-то.

— Когда это?

— Летом.

— У тетки?

— У какой тетки? Ах да, да, у тетки.

Грубеч помолчал, потом спросил:

— Значит, у вас есть тогда место для спанья?

Быстро вмешалась жена Пауля:

— Ах нет, Грубеч, понимаешь, рыжий, тот, что поменьше, он теперь у нас ночует.

— Ах вот оно что!

Грубеч поглядел на рыжего. Тот пожал плечами.

Грубеч допил свой стакан, кивнул и встал. За его спиной быстро сдвинулись головы. Грубеч оглянулся, головы отпрянули одна от другой, но Грубеч только взял пуговицу, которую забыл на столе, и спрятал ее. Потом он ушел.

Пауль вдруг завопил:

— Надо гвоздем забить его крышку, чтоб он больше не вылез.

Жена сказала:

— А ты сядь на нее.

У Мунка догорела печка, служанки давно ушли. Солнце заглядывало в подвальное окно, удивительное зимнее солнце, которое рисовало там и сям красные и желтые пятна, казавшиеся бог весть каким чудом. Холод кусал больно, как собака. Пауль сказал: «Идем». И выбежал. Жена бежала следом. Сжав губы, они перебежали через двор и — вверх по лестнице. Тяжелый, застарелый холод ударил им в лицо, съежились от холода плита и стулья, замерзшие и серые. Оба легли в постель, обхватили друг друга, отпустили, снова обхватили, снова отпустили. Желания не было, но словно чья-то невидимая рука хватала их, валила друг на друга, как они ни противились. Потом Пауль сел, ему стало

теплей, он огляделся по сторонам, посмотрел на стол. Пустой, голый стол, на столе ничего, кроме тонкой ледяной корки там, где вчера стояла кастрюля.

Женщина заговорила:

— Вот ведь какая зима, парень ее все равно бы не выдержал.

Пауль не согласился:

— Поди знай.

Кто-то спросил у рыжего: «Да, а Грубеч здесь или его уже нет?» Рыжий ответил: «Здесь».

Жена Пауля сказала:

— Если он здесь, пускай покажется.

Пауль ввернул злобно:

— Это почему такое он не приходит?

Рыжий объяснил:

— Он внизу. Он там пыхтит и шебаршится.

Среди ночи Пауль проснулся и вскочил с постели. Было темно и холодно. Опять в горле что-то болезненное и противное. Он заметался вслепую, темнота душила его, он испугался, подбежал к окну, свесился, холод резал ножом, он таращился сквозь ночь на одно место, на Мункову лестницу. И вдруг он увидел: напротив открыто еще окно, еще кто-то высунулся из окна и смотрит на то же место. А наискось отсюда над самой крышей еще одно незакрытое окно и еще одно лицо: рыжий. Пауль снова лег и растолкал женщину:

— Слушай, а как же Грубеч?

— Мне почем знать? — И она снова уснула.

Пауль прислушивался к своей глотке. Ничего противного в ней больше не было, противное ушло в лоб. Пауль начал тихо насвистывать, чтобы похорохориться перед своим страхом, который притаился там, в темноте, и наблюдал за ним.

А внизу лежал Грубеч и спал. С какой стати ему было лезть наверх? Будь близнецы рыжие или черные, будь у Пауля толстый живот или тощий, какое ему дело? Грубеч продолжал спать.

Вот когда догорела Мункова печка, пришел холод, и тут Грубеч проснулся. Холод поднимался от пальцев к щиколоткам, от щиколоток к коленям. Прикажете ему по этой причине подняться и топать заодно с остальными? У него есть время. Когда-нибудь над его головой прозвучат шаги, новые, незнакомые. Тогда он сможет подняться, тогда в подворотне либо в коридоре, во дворе либо на лестнице кто-нибудь заденет его рукавом, проходя мимо. Где-нибудь ради него растопят печку, повяжут ленточку в волосы. Может, уже в ближайшее мгновение зазвучат по мостовой эти шаги. Так не лучше ли до тех пор лежать в одиночестве и позволять холоду беспрепятственно подниматься от колен к поясу. Он сел и начал тихо раскачиваться взад и вперед, как делал на плоту. Потом он снова заснул.

Они все сошлись на лестнице. Рыжий сказал:

— Холод во дворе лучше, чем холод в комнате.

Они сбились в кучку.

Вдруг жена Пауля начала драть глотку:

— Эй, Грубеч, пошли к нам, ну, пошли же. Зебальда больше нет, мальчишки больше нет. Я не квашня какая-нибудь, я баба крепкая. Мне все трын-трава. Будет веселей, если ты придешь, приходи. Я ничем не дорожу...

Пауль дал ей пинка, даже у Блондина на серо-белом, замерзшем лице мелькнуло что-то вроде презрения. Он обвил рукой шею Тони и зажал между двумя пальцами мочку его синего уха — терять ему было почти нечего, но все-таки кое-что было и у него.

Они молча смотрели прямо перед собой. Пауль подумал: все замерзли, и всем страшно. Но у меня вдобавок есть то, чего нет у других, есть эта дрянь в горле, ее нет ни у кого, она есть только у меня. Он поглядел направо, поглядел налево, вот здесь Тони, вон там Блондин. Они молча смотрели перед собой, словно следовали за какой-то мыслью, более пронзительной, чем холод и голод.

Почем знать, думал Пауль, может, и у них есть такое, то ли в глотке, то ли еще где.

Однажды ночью Грубеч проснулся он непонятного шума за дощатой перегородкой. Гармоника играла, кулаки отбивали такт на столе, ноги — на полу.

Все быстрей наяривала гармоника, раздувались мехи. Наверняка от нее во все стороны сыпались искры. Верно, что-то вселилось в их тела, верно, новое, нежданное счастье объявилось в погребке у Мунка, верно, безумная, дикая надежда вызвала переворот в их сердцах. Грубеч напряженно прислушивался. Так велика была эта надежда, что и его захватила. Он ждал, что дощатая перегородка сейчас рухнет и все разом откроется его взгляду. Его вдруг потянуло к запаху пота и дыма, пищи и человеческого дыхания, запаху, заполнявшему погребок, как запах сена и руна заполняет овчарню. Потянуло с такой силой, что это почти причиняло боль.

Еще ему хотелось увидеть свет у Мунка, он боялся, что с этим обгорелым, мутным и желтым рожком что-нибудь случится, прежде чем он успеет подставить под него голову. Он опасался, что люди разойдутся, прежде чем он успеет втиснуться между ними, ощутить справа и слева их плечи и бедра. Какое-то мгновение он лежал неподвижно, ожидая, что все это придет к нему своим ходом.

Потом он вскочил и бросился прочь.

Когда дверь распахнулась, все разом повернули головы и замолчали. Лицо Паулевой жены пошло красными пятнами. Они глядели на Грубеча, а Грубеч, щурясь от света, опустился на ближайший стул. Он был маленький и серый, как всегда, замерзший и худой, как все гости зимой. Он сделал знак: выпить. Подавальщица встала, медленно наполнила стакан, поставила на стол и тотчас отдернула руку, будто поставила миску с едой зверю. Грубеч поднял руку, скользнул ладонью по ее бедру, девушка стояла неподвижно, он еще раз скользнул ладонью и отпустил ее с миром. Девушка вернулась на прежнее место. Остальные все еще молчали, разглядывая Грубеча. Он сидел один, как раз против них, им было очень удобно его разглядывать.

Грубеч отхлебнул глоток, отодвинул стакан и положил голову на стол. Его разморило от тепла, как и всякого, кто долго мерз. На лице у Паулевой жены медленно угасали красные пятна. Пауль сглотнул, теперь у него в горле было чисто. Тони тихо заиграл на своей гармонике, это были привычные тонкие звуки. Все косились на спину Грубеча, разглядывали ее злобно и основательно, словно старый камень посреди дороги, так и он лежал у них во дворе. Теперь, словно камень вдруг начал крошиться, голова скользнула вперед, плечи раздались в стороны. Они хорошо его знали, они его ненавидели, он частенько сиживал перед ними в драной синей куртке, выходил перед ними на солнце, безучастно скрывался в подворотне. Теперь у них было время разглядеть его во всех подробностях, он лежал на столе грузно и устало, как лежат все спины, лишенные сил.

Вдруг Зебальдова вдова тихо сказала:

— Самое время от него отделаться.

Блондин на мгновение выпустил между зубами кончик языка. Близнецы встали и пересели за другой стол, напротив Грубеча. Остальные пошли следом.

Кто-то сел рядом с Грубечем. Хорошо, когда рядом с тобой кто-то есть. Этот кто-то прикоснулся к нему. Грубеч поднял голову, перед ним было лицо, он увидел спросонок, это было лицо Пауля, он пригляделся повнимательней. Это был ненастоящий Пауль, возможно, это был человек, очень похожий на Пауля. Лицо у Пауля было не полное и не надутое, хотя все еще широкое и загорелое, но мяса там явно недоставало, чтобы как следует все закрыть. Зима его обглодала. С бесстыдной откровенностью лежали на нем голод и страх. Это лицо понравилось Грубечу, с таким Паулем можно иметь дело. К тому же Пауль был чем-то возбужден, а Грубеч слишком сонный, чтобы его утихомирить. Он поднял глаза, другие тоже подошли к их столу, белая полоса лиц сомкнулась вокруг него. Очень хорошо, но все еще мало, это Пауль знал, он плотней придвинулся к Грубечу и положил голову ему на плечо. Грубеч поджал ноги, чтобы еще больше вдавиться в Пауля.

Пауль положил руку Грубечу на спину. Пусть его кладет, Грубеч не возражал; да будь у этого Пауля дюжина рук, пусть бы обнимал всей дюжиной. Рука Пауля даже погладила спину Грубеча, медленно проползла по ней сверху вниз, осторожно нырнула в сапог, выдернула оттуда нож, ударила Грубеча под лопатку и дважды повернула. Остальные склонились над столом, проволокли Грубеча по столешнице и наскоро запрятали неизвестно куда.

Все кончилось бы и еще быстрей, не выломай Грубеч планку из столешницы и не зажми ее между пальцев. Неизвестно почему, но Пауль вдруг рассвирепел при виде этой планки и начал изо всех сил вырывать ее у Грубеча. Теперь он нерешительно стоял с планкой в руках, а остальные напряженно ждали, что будет дальше. И тогда Пауль запустил этой планкой в дырявого котенка, который сидел на окне и, уж конечно, все видел.

А во дворе все опять начали спрашивать: «Да где ж это Грубеч?» — и рыжий всем отвечал: «Ушел ваш Грубеч». Поначалу все удивились, ближе к лету позабыли. Потом начали поджидать Грубеча, как в каждую зиму. Прошло уже много времени, все встревожились, но Грубеч так и не пришел. Они прождали еще целое лето, но тут Паулева жена сказала, что ждать больше незачем, и остальные подтвердили ее слова. Теперь никто больше не ждал Грубеча, разве что где-нибудь какое-нибудь молоденькое существо все еще ждало красного пятна на серой мостовой, звука среди тишины, события, которое возникает из воздуха, как сновидение из ночного покоя, ждало хоть чего-нибудь, чего угодно, пусть даже несчастья.

Правда, кой-какие события происходили и теперь, например, один из рыжих двойняшек утонул в реке, Паулева жена завела себе любовника, и теперь Пауль колотил ее, как некогда Зебальд. Тони весь усох и знай себе грыз ногти. А однажды утром во двор забрел точильщик и спросил, как пройти к мосту. Блондин вызвался проводить его, ушел вместе с ним да так и не вернулся.

Впрочем, это все были обычные связи и обычные смерти.

По дороге к американскому посольству

В этом чужом городе я хочу быть совсем другим. Я никогда больше сюда не вернусь, но эта единственная неделя пусть будет только моя. Все, что я буду делать в этом городе, не надо принимать во внимание, это не считается, как не считается то, что делаешь во сне. Все, что я буду делать в этом городе, просто-напросто не учитывается. Я так могу. Так и будет.

Он предпочел бы вбежать в этот город, но шел медленно. Его ноги двигались равномерно, как у марионетки. Мучительное ощущение для человека, который желает использовать каждую минуту, который хочет бежать вперед. Вот теперь его ноги вообще начали переступать на одном месте, вверх-вниз, вверх-вниз, стоп.

Колонна, только что тронувшаяся в путь, затормозила у первого же перехода. Это был оживленный торговый квартал перед Западным вокзалом. Люди в окнах с добродушной скукой разглядывали флаги и транспаранты. Иногородний пытался выскользнуть, но безуспешно, он был замурован среди спин, бедер, задов. Его охватил внезапный страх, тоска по дому и даже раскаяние.

Потом спереди хлынул воздух, колонна растянулась как гармоника. Флаги напряглись и выпрямились. И так, словно от этого движения прошел сквозной ветер, быстро захлопнулось несколько окон, исчезло во тьме комнат несколько голов, даже спустилось с лязгом несколько железных ставен. Приезжий вздрогнул, именно сейчас, когда все началось по-настоящему, он споткнулся и с улыбкой помчался вдогонку за своими ногами.

— А куда мы, собственно, идем?

Сосед по шеренге удивленным тоном ответил:

— К американскому посольству.

— А долго нам идти?

— Это нетрудно высчитать. К двум мы должны быть на месте.

Рядом с мужчиной шла женщина, возможно, его жена, рядом с женщиной — чернявый паренек с красным бахромчатым платком на шее. Перед ними четверо парней в одинаковых куртках, с одинаковыми шеями шагали так, словно сообща несли бревно. Они как раз достигли перекрестка, но легче выбраться из спутанного клубка, чем из плотно сбитой шеренги. Он долго всматривался в поперечную улицу. Она действительно вела в самый центр города. Что-то в нем надломилось при этом взгляде, обезумело, вылетело, помчалось прочь, по этой улице с ее льдистым светом, кувыркнулось на ходу и безвозвратно исчезло. Сзади кто-то сказал:

— Только б они его не перекрыли.

— Кого перекрыли?

— Да мост же.

— Посмотрим.

Приезжий прислушался, ничего не понял, увидел вдруг две усеченные башни и даже испугался от радости. Они были такие же красивые, как башни у него на картинках, но зато, чего никогда не было у башен на картинках, от них исходил аромат реальности, который чувствуешь, только когда он есть. Ведь если башни реальные, значит, и город реальный, значит, и сам он тоже реальный, в полном одиночестве, посреди чужого города, где все по-другому и наконец-то вполне реально. Если он вытягивал руку, ее облегал воздух, голубой, чужой воздух, словно некая субстанция. Он чувствовал себя счастливым, ему захотелось поговорить.

— Я провел всю ночь в поезде, я только что приехал, все поперечные улицы перекрыты, я стоял совсем один у вокзала, в чужом городе, и тут я увидел всех вас.

Не желая утруждать себя поворотом головы, сосед бросил на него косой взгляд, взгляд полнейшего равнодушия. Неприятно, когда на тебя так смотрят, и он продолжал с еще большим одушевлением:

— Я хочу это сделать ради обоих парней. Мне их жалко.

Сосед бросил на него еще один взгляд. Лицо у него окаменело от презрения.

Сзади все так же напирали:

— Живей, плотней, сомкнитесь, пока они не перекрыли.

Сосед теперь окончательно от него отвернулся, лицом к женщине, женщина быстро глянула на него и опустила глаза.

В ней замкнулось что-то, бывшее открытым четыре, пять лет подряд. Непорядок был везде: наверху, в голове, и внизу тоже. Как это вообще стало возможным? Будь Пауль жив, это все равно не помогло бы. Он стал бы совсем не такой, каким был перед тем, как умереть, ведь если человек остается жить, он неизбежно делается другой. И Пауль, останься он жить, был бы теперь точно такой же, как тот, что шагает с ней рядом, такой же угрюмый и жесткий как камень. Пауль и всегда-то был мрачноват, а такие со временем становятся совсем как каменные. От напряженных раздумий у нее все поникло: челюсти, плечи, живот, растянутый в наказание за то, что слишком часто приходилось ему бывать непорожним. Мужчина подумал: с этой каши не сваришь, она такая же заезженная, как моя старуха. Да, ему, значит, жалко. В кармане между указательным и большим пальцами мужчина зажал монету, о которой дома даже и знать не могли. Как не могли знать, когда кончится вся эта история с посольством. Может, там вообще все оцепят. Тогда он устроит себе небольшой праздник, встряхнется малость. Жалко, значит. Обоих парней. И никто потом не вспомнит. К нему так они даже никого не послали из профсоюза. Он еще говорил жене, что, само собой, они кого-нибудь пришлют. Он уже давно состоит в союзе, его в ту ночь душило, и его жену тоже душило. Во-первых, из-за Стефана, раздавленного и за-

рытого, а во-вторых, поскольку выяснилось, что из союза даже и не подумали кого-нибудь прислать.

Сзади напирали. Быстрей! Плотней! Кто-то яростно крикнул: «Глядите, чтоб они нас не разогнали!»

И вдруг все бросились бежать. Бежала женщина, прижав руки к животу. Бежал паренек рядом с ней, прижав локти к бокам, словно на длинную дистанцию. Мужчина на бегу выпустил из пальцев монету и отчаянно шуровал в кармане и в подкладке. Бежать он бежал, но горло у него сжималось от ярости, потому что монета соскользнула по штанине вниз, на мостовую.

Приезжий взял шляпу в руки и тоже побежал. Он твердо решил оторваться на ближайшем углу. Он торопливо обвел глазами шеренгу напряженных, вспотевших лиц. Никто не глядел в его сторону. Он круто свернул за угол, но, к его великому удивлению, все круто свернули за угол. Они вонзились словно клин в поперечную улицу, в темную, неподатливую толпу. Какое-то мгновение транспаранты и флаги плыли над морем голов. Потом толпа раздалась в стороны, распалась, бросив колонну со всеми ее флагами и песнями в одиночестве. Еще они оставили ей по широкой, блестящей полосе асфальта слева и справа. Заполнились маленькие, грязненькие кафе. Улица смеялась над колонной, она приобрела вдруг непомерную ширину, так что колонна теперь казалась узкой, как нить. В чем, собственно, дело? Я один в этом городе и совсем недавно был вполне счастлив. Приезжий всего охотнее присел бы, чтобы простонапросто пропустить колонну мимо себя, но ему стало жалко остальных, троих из своей шеренги, которые тогда останутся без него. Он поднял голову и снова увидел обе свои башни неожиданно близко. От радости у него сжалось сердце. Эти башни высились стражами его мечты, безумной, неосуществимой мечты юности, его страстного, скрытого под стыдом и страхом желания, его последней надежды последних лет: когда-нибудь одному съездить в этот город.

Приближающееся шествие одело лица за столиками

облаком недоброжелательства. Взгляды демонстрантов скрещивались со взглядами сидящих, цеплялись за них, вытаскивали их из-за мраморных столиков, волочили за собой эти тупые шероховатые взгляды, покуда те не становились гладкими, чтобы остальная часть колонны могла без зацепок проскользнуть мимо.

— Сомкнуться! Они перекрывают!

Ну, если они перекроют, значит, туда вообще не подойдешь, значит, можно поворачивать. Прийти и распахнуть дверь: вот она я! В комнате, верно, никого не окажется. Тогда можно выкрикнуть во двор: «Вот она я!» Пауль по вечерам всегда устраивался среди спящих детей, устремив на дверь напряженный взгляд, чтобы вырвать ее тело из объятий чужого, страшного города. Никогда больше не бывало так, как в те времена, когда она устремляла на дверь напряженный взгляд. Казалось, будто он приносит со своей работы самое главное, то, без чего не обойтись, чтобы быть счастливым ночью.

Мужчина сказал:

— Они оцепляют, мы только зря собьем ноги.

Паренек взвился, словно его шилом кольнули:

— То есть как это зря?

Приземистый толстячок вывалился из кафе и побежал через улицу.

— Эй, Стефан!

Хмурый мужчина бросил приезжему короткий взгляд. Но приезжий не позволил себя выпихнуть. Какое-то время они бежали впятером. Мужчина еще раз толкнул его взглядом, но приезжий не позволил себя выпихнуть. С какой стати он уступит кому-то свое место? Глаза с набрякшего и красного лица, раздутого, как воздушный шарик, досадливо обратились к нему, после чего пятый пристроился где-то в другом месте.

Сакко и Ванцетти. Ей было очень стыдно, она хотела бы спросить, особенно бегущего рядом паренька, того, что выкрикнул: «То есть как это зря?» Так бывает со всеми, кто стесняется спрашивать. Ей бы надо спросить с самого

начала, когда все об этом говорили. Но она и в самом деле стеснялась спрашивать мужчин и предпочла просто бежать рядом без расспросов. Она думала, думала и все никак не могла вспомнить, в чем дело с этими двумя, что сделали эти двое, о которых все говорят, а спрашивать было как-то не с руки. Она еще напрягла память и вдруг вспомнила. Ей стало гораздо легче. Только сейчас она наконец вспомнила, что эти двое как раз ничего и не сделали, ничего великого, ничего малого, а просто-напросто были невиновны.

Воздух был влажный и тяжелый, всем стало очень жарко. Паренек нерешительно снял свой красный платок, свернул его, потом передумал, накинул на плечи, а концы засунул в карманы. Оцепляют, зря собьем ноги, окликнуть, отправить домой, окликнуть, отправить домой, ничего не происходит. Поутру вырвешься, ввечеру приходишь обратно. Его круглое загорелое лицо с выбритым, синим, как чернила, подбородком, было истерзано надеждой. Впереди кто-то обернулся.

— Эге, малыш, ты тоже здесь!

— Всегда.

— Сегодня все идет гладко.

— Не думаю.

Слева и справа перед многочисленными кафе надсадно вопили и махали газетчики, «экстренные выпуски» летали вокруг мраморных столиков. «Их снова перевели в камеру смертников!» Лица опускались и поднимались снова, окунувшись в страх, лица грозили колонне, словно они же и отрядили ее, а теперь досадовали на медлительность. Колонна подобралась, на лицах слева и справа от него угасал страх, какую-то долю секунды они были совсем лишены выражения, будто заспанные, потом заполнились чем-то другим.

Тех двоих снова перевели в камеру смертников. Там тесно и темно, и пол под ногами твердый как камень, и во рту совсем не осталось слюны. Они к этому причастны, они знают, чем это грозит, недаром они с утра пораньше вырвались из дому.

Из темноты те двое обращают к нему белые, блестящие от пота лица. Болезненно и неохотно мысли в его голове сжимаются в одно-единственное желание — оказаться на их месте, но сердце противится этому желанию яростными сухими ударами, и в животе тоже колет.

Их перевели в камеру смертников. Там воняет хлороформом и эфиром. Три-четыре здоровых мужика в белых халатах тщетно пытаются остановить кровь, которая терпеливо и медленно вытекает из человека, впрочем, мужчина может умереть и по-другому. Вон у Пауля совсем вытянулось лицо. Он был по-прежнему обгорелый до черноты и в то же время совсем бледный, как палый лист. Из тьмы они обращают к ней свои лица, два схожих, словно у близнецов, непомерно вытянутых в длину изжелта-бледных лица. Она содрогнулась, но овладела собой и в упор глянула на них.

Их перевели в камеру смертников. Все. Конец. Разумеется, конец, только бабы этого не понимают, ты даже хочешь, чтоб скорей пришел конец, а бабы, они воют. Маленькая камера для смертников из рифленой жести, между двумя путями, на Западном вокзале. Он пробивается сквозь толпу пролетариев, но руки у него стали мягкие, как бумага. ...На земле, у его ног — голое, безусое лицо... Ему, отцу, можете не пудрить мозги, он достаточно проработал на Западном вокзале. ...Два буфера, а между ними блин... Он знает, что закрыто одеялом. Он срывает ненужное одеяло. Он не знает, о чем ему думать. И тогда он впопыхах думает о том, пришлют ли они на похороны кого-нибудь от союза железнодорожников. Очень стыдно, но других мыслей у него сейчас в голове нет. Из тьмы оба парня обращают к нему свои лица, одно лицо с усами, другое, ну, другое с выбритым подбородком, и платок красный. Все внимательно глядят друг на друга. Он не может им помочь, они не могут помочь ему.

Их снова перевели в камеру смертников. Это делают ровно за сутки. Один раз они уже были в этой камере, потом их перевели из нее в обычную. Он сделает для

них все, что сможет. Он один в этом городе, никто ему не может помешать. Они ждут и ждут, хотят поговорить друг с другом, но языки отяжелели, и нёбо пересохло. Из тьмы они обращают свои белые лица к нему, чужаку, приезжему. В голове у них корчатся и бьются мысли, что он может для них сделать. Опять кольнуло в животе.

Их снова перевели в камеру смертников. Надо бы подойти к посольству раньше назначенного времени. По правую и левую руку пролетали берега, до синевы унизанные сифонами, чаша из стульев и столов, сидящих людей, которым дано право отдышаться, которых пощадила эта страшная, отчаянная спешка. Он еще раз оглянулся на свои башни, но теперь они лежали далеко позади и вдруг стали точно такие, как на открытке. Приезжий разочарованно отвел глаза.

— А где, собственно, находится американское посольство?

— Само собой, на правом берегу. Они там все живут.

Значит, на правом берегу. Это его озадачило. Каждый вечер, из месяца в месяц, когда все засыпали, он раскладывал план города и оставался наедине со своим дорогим городом. Теперь ему вдруг страстно захотелось, чтобы исчезли улицы, люди, дома и чтобы все стало таким, как было целый год, сеткой из квадратов. Он всех их знал, всех любил, он разбивал свой бивуак — красный крестик — то в одном, то в другом квадрате. Любой квадрат, будь то в центре или на краю, мог располагать всем, что ему надо, в любом было все возможно. Смешно, что он даже не представлял себе, где поместить посольство. Собственного квадрата у посольства, разумеется, не было, но обозначить его как-то полагалось. Наверняка оно расположилось за какой-нибудь большой главной площадью, в которую впадает много улиц. Решетка ограды с позолоченными наконечниками. Газоны за решеткой свежие, нетронутые. Вокруг все жаркое и серое, воздух придавливает тебя, словно доска, а за решеткой на траве и на листьях блестят капли воды. Слева и справа в боскетах цветут цветы, не

просто цветут, а сияют непонятной, ненужной свежестью. Дорожки белые — словно ноги, которые по ним ходят, никогда не оставляют следов. И лестница не для того, чтобы по ней подниматься. Впрочем, кто захочет по доброй воле проникнуть внутрь этого дома? Ослепительный белый фасад отражает даже взгляды. И нигде ни живой души. Его жена облокотилась на стол, подперев лицо ладонями, примяла пальцами свои круглые румяные щеки, а краем столешницы — свою грудь и внимательно слушала.

От головы колонны по рядам пробежало: «Впереди оцепляют — не отделяться — быстрей».

У нее вдруг стало тепло между ног, и она не прочь бы проверить. Она так надеялась, хотя этого пока и вообще не могло быть. Она снова начала считать. Понедельник, один понедельник назад, два понедельника назад. Сейчас был понедельник, двенадцать часов. До вечера все вполне нормально, а вот потом будет плохо. То и дело просыпаться ночью и глядеть. Если это произойдет лишь в тот понедельник, значит, впереди неделя полной свободы, можно думать, о чем захочешь. Но проку в том нет и смысла тоже, все равно плохо, все равно целую неделю будешь думать про то острое, колючее, что будет потом, на этом же месте. Главное, ему даже и не очень хотелось, он просто так пыхтел и суетился, и ей тоже не очень хотелось, просто она была рада, что вот и на нее кто-то польстился, хотя радоваться тут нечего. Уж такая она есть, всю сладость из нее выдавливали, днем и ночью, выдавили до конца, и в голове у нее все стало ясным и четким, а вот бедра или, скажем, живот, он только по-дурацки болтается снаружи, и если кого-нибудь это еще может соблазнить, для такой, как она, нет в том ни радости, ни горя. Она уронила плечи, ей стало стыдно, потом она приосанилась и пожала плечами. Она хотела избавиться от неправильного времени, которое всегда протекало через нее, она хотела приобщиться к правильному, большому времени, в котором чувствуешь себя независимо и свободно. Мужчина рядом с ней вдруг положил руку ей на спину и крепко сжал ее плечо. Она

было обрадовалась, но он просто подтолкнул ее вперед, чтобы поменять место и, оказавшись рядом с пареньком, спросить у того:

— А сколько таких колонн идет?

— Шесть. Сегодня по всем городам идут такие колонны.

Мужчина ответил каким-то странным взглядом, и уголки губ у него помягчели. Это он нащупал левой рукой монету, которая вовсе не выкатилась на землю, а просто он машинально переложил ее из одного кармана в другой.

Колонна сжалась. Позади какое-то время оставался на мостовой белый след, словно кильватер за пароходом. Потом люди преодолели робость и сомкнулись над белым следом. Приезжий шел теперь рядом с женщиной. Она не глянула на него ни единого раза, она изо всех сил старалась понять, о чем говорят соседи по шеренге. На ее сером, сухом лице он увидел сладкие уголки губ и даже от этой сладости ощутил укол, потому что ему хотелось большего.

Да, ему хотелось большего, он был по горло сыт этой колонной, он торопливо шагнул в сторону. Никто за ним не следил. Он сделал еще несколько шагов в сторону, он чувствовал вокруг себя чужие плечи, рукава, женщин, сладковатый запах. Он остановился в нерешительности. Но тут и колонна остановилась. И город немедля взял их в жесткое кольцо. Он замешкался, дал оттолкнуть себя в сторону. Какое-то время снаружи было легко и радужно, чужой, сладкий город; а в рядах колонны было тяжело от напряжения. Перед колонной по набережной проносились автомобили, которые выпали из лопнувшего бездонного автооблака. В том нехорошем месте, где у него всегда рождался страх, застучало, а почему, он не знал. Он смотрел прямо вперед, все смотрели прямо вперед, на постовых у входа на мост. Дальше! Вся колонна мощным рывком хлынула к мосту, все прошло вполне благополучно, ничего не оцеплено, постовые не шелохнулись, рывок пробежал по рядам назад и сошел на нет. Паренек наморщил лоб и начал насвистывать. Приезжий вообще ничего не понял, но стучать в нем перестало, а почему, он не знал.

Поворачивать не имело смысла. Она бы не прочь перед мостом уйти из колонны, но стыдилась мужчин, которые могли подумать, будто она боится. Она и в самом деле боялась, боялась полицейских, которые могут дубинками преградить ей обратный путь, к детям. И без того плач Густава тянул ее через мост, как вечная, сбегающая с бесконечной катушки, укорененная у нее во лбу нить. Пусть уж другие шагают в таких колоннах хоть до городской черты, свободные, счастливые, они небось не тянут за собой такую комнату, полную детей, тарелок и белья.

Приезжий глянул на реку, лодки и плоты широко и уверенно разлеглись на мерцании ненадежных, дрожащих облаков и зданий. Там, где берега сходились ближе, лежал другой, изогнутый мост. Вот по этому мосту он и хотел вернуться.

Он юркнул между двух постовых, вмонтированных у въезда на мост с правой стороны. Но тут раздалось: «Назад!» Через мост, потом вдоль по правому берегу колонну направляли между двумя шпалерами жандармов в восточную часть города, именно туда, куда они и сами держали путь. «Гладко все идет сегодня!» — «Посмотрим, посмотрим!» Тесные, невзрачные кафе, битком набитые, как и на том берегу, но только более многочисленные. Пустые стулья норовили схватить его зад, потому что он очень устал. Хорошо, что подвернулась эта колонна, она прокатила его по большому городу. Первый день еще не делает погоды. Ему была нужна ночь. Улицы и площади, башни и мосты лежали вокруг маленького белого центра, единственного, чуждого. Делать со всем этим, что заблагорассудится. Теперь, когда вокруг лежал город, желание стало еще сильней. Перед усталыми глазами длинные хвосты из голубых сифонов, а к желанию примешалась отчаянная тоска, которая обычно сопровождает невозможные желания. Он испугался.

В грязных дешевых кафе предмостной улицы расхристанные парни, низкопробные девицы, хотя рядом — голые шеи и голубые куртки.

«Поживей, ребятки! Тут уже проходили из ваших, вон там!» Пустели стулья, к старым шеренгам пристраивались новые. «Поживей!» — кричали им из окон идущей то в гору, то под гору улицы. На минуту знамена осенили эти низкие комнаты, отбросили порывистую тень на очаги и кровати. Женщины оборачивались и бросали куда-то в глубину домов: «Они разнесут посольство на куски». У них под ногами с жужжанием раскручивалась улица, проворно обматываясь вокруг фонтана, покуда не заполнилась вся круглая площадь.

С парапета на открытые, воздетые кверху лбы чей-то голос бросал слова «Сакко — Ванцетти» — «протест» — «классовая юстиция».

Нет, они не должны умереть. Приезжий не верил в это. И женщина не верила, и мужчина, который шел рядом с ней, тоже нет. И паренек думал: нет, они не должны умереть. Правда, их снова перевели в камеру смертников, но он должен вызволить их оттуда. Его сердце сжалось в отчаянном усилии, которого хватило бы, чтобы совершать священные поступки за пределами человеческих возможностей, но тотчас снова распалось в тупой, равнодушной тоске. Они наверняка умрут. Бомбы здесь так же бесполезны, как и мольбы, все их шествие ни к чему. Дома старик один не справится с тележкой, он подойдет к двери, свистнет, и тогда на улицу выйдет Мария, и покупатели инжира начнут все пялиться на нее: грудь, руки, стройные, высокие бедра, так что каждый начинал сразу же глядеть на них, а на бледном лице узкие, сверкающие щелочки глаз. Он схватил Марию под мышки, встряхнул ее, отбросил и захлопнул дверь. Он сказал:

— Они наверняка умрут.

Мужчина его понял, тотчас утратил свою веру и поддакнул:

— Они, может, уже умерли, их, может, уже тайком повесили. Все это не имеет смысла.

Процессия медленно раскручивалась от парапета в прилегающую улицу. Приезжий увидел пустую площадь, церков-

ный портал, дома и колодец — все они теперь разваливались, как скорлупки, колодец на пустой площади без человеческого голоса торчал дурак дураком. Его желание вспомнилось ему, как вспоминается потерянный предмет. Оно больше не было таким сильным, и он огорчился. Он хотел снова получить свое желание, но ему ничего не приходило в голову. Потом он все-таки кое-что мысленно сотворил: грудь и руки, стройные, очень высокие бедра, а на бледном лице узкие, блестящие щелочки глаз. Образ продержался какое-то время, потом исчез. Никто с ним не разговаривал, не помогал вопросами разогнать тоску.

Справа от нее шагал угрюмый мужчина, все время повернувшись к пареньку. А на того, что слева, она вообще не желала глядеть, тот был совершенно чужой, все время как доска между ними. Она снова начала считать и сердито передернулась. Лучше думать про собственных детей, ей ни разу не доводилось увидеть их днем — только ночью, трое на одной постели, когда она ночью приходила домой. По утрам она как безумная набрасывалась на оставшиеся от детей вещи, чулки, и куртки, и белье. Рассветный двор под окном был бесстыдно гол, как небо над ними. Впору было перепутать два этих четырехугольника. А она до смерти устала от дня, который еще не наступил. У нее только и хватало сил, что делать маленькие стежки один за другим. Она хотела придумать, что-нибудь выдумать, но каждый стежок прокалывал мысль. Никогда в жизни ей не додумать до конца одну из тех великолепных светлых мыслей, которые приходят в голову мужчинам, чтобы потом жить дальше, держась за них.

Ни жандармов, ни постовых, никого. Им на это плевать.

— Они пропустят нас безо всякого.

Приезжий почувствовал облегчение и сказал через всю шеренгу четвертому:

— Они пропустят нас безо всякого.

Третий перехватил его слова и ответил хмуро, как отвечают чужим:

— Наверняка не пропустят.

Сзади сказали:

— Они спокойно подпустят нас, а потом оцепят посольство.

Как укол тайной болезни, которой боишься, он испытал укол страха, такие уколы у него всегда бывали, на службе, на улице, в постели, но он надеялся, что в чужом городе их не станет.

Колонна протискивалась в серое ущелье между банками. Ставни всюду были заперты, и казалось, что люди несут свои плакаты мимо слепых глаз. Они пересекали аллею. Город отшатывался от них, разбегался, широкий и зеленый, во все стороны. Ничего с ними не будет, никому не нужен паренек, ничего от них не ждут, они просто повернут восвояси. Утром человек уходит из дому, порывает со всем, будто навек, ожесточает свое сердце, а потом оказывается, что он никому не нужен, и вечером он возвращается домой.

Нежно обволакивающая утренняя сонливость сковывала ноги, притупляла мысли. Он шел все медленнее, запинался, спотыкался, один спросонок толкнул другого, флаги сникли, конец. В маленьких виллах за влажными тихими палисадниками горели огоньки, разгоняя утреннюю хмарь. Лаяли собаки. До посольства, наверное, было еще идти и идти. Все чувствовали спиной, что колонна у них довольно короткая. Без подметок останешься, а ботинки Стефана меньше на два номера, его ботинки, и его одежду, и все это барахло следовало наконец куда-нибудь унести. Стефан, потеха да и только, Стефан, наверное, сказал бы: мне это все теперь не нужно, они из меня сделали лепешку, для меня нужно сшить футляр, а тряпки отнеси к еврею-старьевщику, слышишь, отец, и устрой себе хорошее воскресенье. Такие потоки злости из него изливались, хватило бы, чтобы захлебнуться целому городу.

Они снова пересекли какую-то аллею, замедлили шаг. Широкая, умеренно оживленная улица открылась их взору и вдруг опустела перед красной, медленно надвигающейся полосой. Дома стояли серые и безжизненные, как театральные декорации, которые кто-то умышленно расставил слева

и справа, чтобы создать подобие улицы, по которой может проследовать колонна. Если она распадется, приезжий снова останется один, будто вот-вот прибыл, и тогда все начнется сначала.

— Еще долго?

Женщина стыдливо пожала плечами:

— Откуда мне знать?

Если она вообще не вернется домой, Аннины глаза станут как две черные дыры, полные недоверия. Я все время знала, что когда-нибудь ты вообще не придешь. В прошлом году она однажды так испугалась, что какое-то время вообще никуда не ходила. Она по очереди принималась за каждого из детей и столько чистила, штопала и отмывала каждого, сколько вообще можно чистить, штопать и отмывать одного ребенка. Потом она передумала.

Спереди снова раздалась песня и оборвалась, она была слишком тонкая и легковесная для такого тяжелого и сумрачного шествия. Только хмурый мужчина продолжал петь, поскольку даже не заметил, что поет один. Он пел полным и чистым голосом, потому что ему нравилось посылать свой голос вдоль всей колонны. Во всех домах слышали только его, но он об этом и не догадывался. Он перестал петь, только когда допел до конца, был убежден, что остальные перестали вместе с ним, и потому не застыдился. Уголки губ у него снова загнулись, лицо снова покрылось налетом хмурости. Впереди кто-то обернулся и крикнул пареньку:

— Там стоят какие-то, значит, сомкнуть ряды.

Паренек провел взглядом по своей шеренге: мужчина, женщина, мужчина. В конце улицы стояли постовые. Они медленно их пропустили, шеренгу за шеренгой, как овец на стрижку. У приезжего было такое чувство, будто он перешагнул некий порог. И вдруг — р-раз — плач Густава у нее за спиной оборвался, такой длинной была державшая ее нить, длинной, но все-таки не бесконечной, и вся комната канула во тьму. Она оглядела новую улицу с постовыми перед каждым шестым домом. Складка у ней на лбу

натянулась так, что даже заболело внутри головы.

— Эй, вы там, впереди, сворачивайте!

Паренек приставил ладони ко рту и закричал. Он сердито потянулся, но тот, кто шел впереди, был гораздо выше ростом. Еще дальше впереди кто-то откликнулся:

— Брось, она перекрыта.

Паренек глянул пристально, они пробежали мимо условленной улицы, как гуси вдоль забора. Он отвернулся от своей колонны в сторону поперечной улицы, она затягивала его, он попросту налег и побежал вперед, ничего такого, наудачу побарабанил костяшками по ближайшим окнам, обернулся, они шли за ним следом, колонна надломилась посередине, задняя и передняя части сомкнулись, как два крыла, и острием пронзили улицу. Полицейских прижали к стенам домов. Улица дыбилась, кричала и стонала; будто ветер по неизвестным законам задул вдоль и поперек улицы — одни окна захлопнулись, другие, напротив, распахнулись. Приезжий потерял шляпу, провел рукой по волосам и пустился бежать. Ослепнув от страха, он налетел на что-то трепетное, красное, налетел на паренька, и тот сказал, улыбаясь:

— Мы прошли!

Колонна склеилась по новой. Паренек бежал между мужчиной и женщиной и, обхватив ладонями их локти, толкал обоих вперед. Приезжий бежал рядом. Улица померкла от страха. Он бежал наугад на звук шагов. Позади, в начале улицы, раздался крик, протяжное «А-а-а!».

Мужчина сказал: «Этим тоже досталось».— «Кто не сумеет перепрыгнуть, пусть проползет».

Полицейские перекрыли весь перекресток, люди накапливались, замедляли шаг — не давайте им передыху. Перед приезжим все было оцеплено, позади — тоже, над ним — узкая полоска неба, вычерненная страхом. «Кто не сумеет перепрыгнуть, пусть проползет»,— сказал кто-то, прочь из этой улицы, что обернулась мышеловкой. А до́ма сейчас накрыли белой скатертью стол. За столом сидит жена, чужая, сырая женщина, и безмятежно разливает суп.

Лучше вообще не вернуться домой, чем вернуться до срока. Не так уж и велик его страх, как ему пытаются внушить. Он должен пройти. Толпа напирала, полицейские начали бить, раздались стоны, мужчина сказал:

— Опять он схлопотал.

Парень сказал:

— Без этого не бывает.

Мужчина сказал:

— Не бывает.

Между садовыми оградами шла узкая улица, позади блестело что-то светлое: белая площадь. Светлые, белые площади отражались во всех глазах. Корка на лице у мужчины начала трескаться. Он признал фасад дома, разглядел даже колонны. Если человек, которого он ищет, вообще где-нибудь живет, то лишь в этом доме. Наконец он нашел его, поднялся по лестнице, грохнул кулаком по столу:

— Это посольство?

— Нет, это отель «Савой».

— А до посольства еще далеко?

— Порядочно.

— Мы должны быть там в два.

Оба лица, больные от смертного страха, напряженные от надежды, обратились к нему, пареньку. Их лица зачеркнул свист мужчины у тележки с инжиром.

На балконах и в окнах отеля «Савой» люди наблюдали причуды чужого города, приближающуюся колонну, узор из темных людей и синих полицейских. Чужаки и новички. Они были там, высоко в воздухе, они были в безопасности. Он оставил свой багаж на вокзале. Он не хотел получить комнату, поднятую над городом на четыре этажа, не хотел безопасности, не хотел четырех стен вокруг. Эти люди никогда не узнают, что такое город, никогда не почувствуют там, наверху, такой страх, от которого затвердеваешь, никогда не вставят свои тела в шеренгу, не налягут все разом. Паренек наляжет легко, но упорно, женщина

наляжет слабым, изможденным телом, в котором еще оставались какие-то силы, мужчина наляжет серой и хмурой глыбой. Потом вся площадь опрокинулась, как тарелка, люди просто хлынули назад, в ту улицу, из которой пришли, мимо продырявленной поперечной улицы, мимо другой, третьей.

— Зря бегаем, все время по кругу.

— Совсем не зря, совсем не по кругу. Здесь прямо.

Улица была пустынная и прямая, но такая длинная, что никто не видел, куда она ведет. Она вытянулась, как улица во сне. Чтобы она кончилась, надо проснуться. И вдруг приезжий почувствовал, что вот-вот проснется. Он уже чувствовал солнце на своем ватном одеяле, застоявшийся с ночи запах сладковато-горького сна, подступающий день. Он пытался отчаянным усилием отогнать пробуждение. Узкая бесконечная улица сна хоть и заставляла сердце содрогнуться от ужаса, но зато вела к посольству. Он всякий раз слишком рано просыпался, он хотел попасть туда до наступления дня.

На чужой длинной улице, запруженной людьми, она встретила однажды своего сынишку, Иоганна, старшенького, любимого. Он вдруг возник прямо перед ней, она даже испугалась от радости. Она тайно последовала за ним, тайно нагляделась им досыта, с головы до пят, жадно вобрала глазами все части дорогого ей тела. Лопнувшие сзади швы на башмаках, зашитые на руках, мужская неумелая работа, чулки с дешевой распродажи, между чулком и штаниной полоска голого тела, вызывавшего у нее жалость. Залатанная на лопатках куртка, круглый, пушистый затылок — а потом он повернул голову и оказался чужим ребенком.

Заранее можно было предвидеть, что эта узкая длинная улица добром не кончится, зато по крайней мере можно было понять, зачем ты по ней идешь. Ты готов отдать все, а у тебя никто ничего не просит. Если они дойдут, не поворачивать же назад маленькими группками, кружным путем. Ужас до чего поздно.

Ему было наплевать, долго это еще протянется или нет. Все равно они без толку разобьют себе лбы. Без толку позволят плясать на своих животах. Дрожкий, светлый перестук, это, без сомнения, конная полиция там, на дальнем конце улицы, которая вдруг оказалась не такой уж безнадежно длинной, но лицо его прямо засветилось от презрения. Мужчина решительно не понимает, по какой причине ему не наплевать. Он обратил лицо к пареньку, и тот тоже сказал: «Наплевать».

Но не успел он договорить, как все отлетели к стенам, словно вся колонна стала облаком пыли. Маленькие людские облачка забросило в боковые улицы, если не считать троих, четверых, которые со стоном ползли на коленях, потом либо падали ничком, либо катались с боку на бок. Они обежали квартал, завернули за первый угол, за второй. Они вдруг оказались сами по себе, другие только потом их догнали, метались на ветру концы красного платка. Мальчишки бегают быстро, за ними не поспеть, так бегал Стефан, утром и вечером. Он, задыхаясь, бежал за своим легким на ногу мальчиком. Из окон кричали:

— Бегите за угол. Там впереди тоже есть ваши!

Всю ночь напролет он просидел в купе, без сна, выпрямившись, среди мирно спящих, и терся виском о деревянную обшивку. Жена, посмеиваясь, укладывала его чемодан, но все-таки уложила. В последнюю минуту у него стало так тяжело на душе, что он предпочел бы остаться. Но он поступил, как задумал сначала. Он решил не обманывать себя, кого ему жаль, того и жаль, куда он хочет, туда и пойдет. Когда стоишь, страх всего сильней, когда идешь — поменьше, когда бежишь, страха вообще нет.

Женщина споткнулась, упала на колени, совладала с болью и побежала дальше. Они еще раз обежали тот же квартал и вернулись в ту же улицу. В сиянии улицы, ее собственного, холодного и четкого света на всех этажах магазинов, вплоть до чердачных слуховых окон, показались разинутые рты и глаза. Они таращились, потом опадали во тьму мастерских. Из боковых улиц снова

текли люди с флагами и транспарантами. «Плотней! Сомкнуть ряды!» Все совпало, одно к одному: женщина, хмурый мужчина, паренек, все потные и запыхавшиеся. Они быстро выстроились в шеренгу, приезжий протиснулся через несколько рядов, паренек глянул назад через плечо и поманил его большим пальцем, поманил, это значило больше не быть одному, это было почти так же хорошо, как разговаривать. Приезжий охотно побежал бы рядом с пареньком, но ему досталось прежнее место рядом с женщиной. Она была такая усталая, эта женщина, тело у нее было такое слабое, просто невозможно понять, как оно ее до сих пор держит. Она не могла остановиться, в ней словно гудел счетчик. Она яростно прервала подсчет и что-то буркнула. Приезжий бросил на нее быстрый взгляд, по ее серому лицу черными пятнами растекалась усталость. Они побежали дальше по бесконечной, неверной улице, на ватных ногах, словно по канату, натянутому между двумя неподвижными точками. Приезжий не мог понять, какой цокот звучит в его больной голове, прежний или новый. Верно, и тот и другой; первые уже развернулись им навстречу, а сзади скакали новые. Они метнулись в первую же улицу, но у колонны отсекли хвост. Из окон кричали: «Здесь вы не пройдете, они оцепили площадь!» Но пареньку все было нипочем, он желал блеснуть, он даже не мог провести несколько человек через оцепленные улицы, он и сам не мог пройти, потому что не атаковал в лоб, потому что щадил себя. Он обернулся, прищурив глаза, и внимательно оглядел все, что покинул утром: тележка, на тележке инжир, с полдюжины покупателей, взгляды которых все без исключения гуляют вверх и вниз по высоким и стройным бедрам Марии, внимательно оглядел всю картину, почувствовал боль, вытеснил картину из своих мыслей, и не просто вытеснил, а с презрением.

Они обежали один квартал, обежали второй. Теперь все почувствовали, как поздно, даже самые медлительные почувствовали. Женщина все шла и шла, опустив глаза, и с неослабным вниманием рассматривала что-то на внут-

ренней стороне своих век. Они ее ждут, она чуть не позабыла их, вытеснила из сознания, бросила в беде, красивые, крепкие ребята. Она отчаянно замолотила короткими, жесткими руками по спине того, кто шел впереди.

Колонна быстро заполнила своими изгибами многочисленные повороты маленьких улочек. Казалось, будто улочки бегут сами по себе, извиваются и гнутся. Потом впереди остановились так резко, что все отлетели назад. Совершенная тишина заполнила улицы вплоть до открытых окон и подворотен. Командные выкрики полиции где-то далеко, в голове изогнутой колонны, так же не могли нарушить тишину, как тиканье часов — тишину праздничного зала. Где-то далеко, за домами, разлетелись брызгами два слабых выстрела. Приезжий схватил женщину за рукав, но она выдернула рукав и строго на него посмотрела. Тогда он так громко рявкнул «Вперед!», что за несколько рядов от них все рванулись с места. Женщина замолотила кулаками по спине впереди идущего. Ударная волна дошла, очевидно, до начала колонны, потому что дышать стало полегче — все пошли дальше. За каждым изгибом улочки могло возникнуть то открытое место, с которого упали выстрелы. Его сердце требовало броска на открытое место, но руки и ноги сковывало цепями страха. Приезжий рвался вперед и кричал. Перед поворотом разлегся большой кривой дом с разинутой подворотней, где теснились люди. Из окна на проходящих людей глядела с угрюмой безучастностью девушка. У нее были красные губы и на удивление золотые волосы. И хотя колени у него подгибались от страха, что-то в нем рванулось через подворотню, принялось искать, нашло подъезд, лестницу, стеклянную дверь, комнату и, минуя бесполезные и мучительные уговоры, стиснуло девушку в безумных, наконец-то дозволенных объятиях.

Неожиданно сразу за большим домом открылась прежняя узкая улица. Они проходили ее уже по третьему разу. Постов здесь не было, и они двинулись в сторону свиста, на последние серые дома, облицованные тускло-

солнечной плиткой. Приезжий испытал нечто похожее на разочарование.

Они вошли в поперечную улицу. Транспаранты, лениво обвисшие широкой дугой, вдруг все натянулись, кто-то в поднятой кверху руке зажал обломок древка. Задние смотрели в спину передних, устремив блестящие взгляды на четыре куртки-штормовки, которые, может быть, только и отделяли их от заветной площади.

Наморщив лоб, паренек поймал ухом несколько слабых выстрелов за четыре-пять параллельных улиц отсюда. Чем внимательней он прислушивался, тем отчетливей становились выстрелы. Он даже расслышал еще более слабые, в другом месте. Он сказал:

— А ну, послушайте: все время вокруг площади.

Мужчина сказал:

— Зря они оцепляют со всех сторон.

Паренек сказал:

— Да, совсем зря.

Теперь и женщина прислушалась. И поскольку ей больше не за что было держаться, она ухватилась за складки своей юбки. Прежние мысли бились изнутри в ее лоб, требовали, чтоб она продумала их до конца. Но такая грузная, такая тяжелая, она в жизни не доберется до площади. Пора наконец оттолкнуть детей и бросить. Перегрызть все пуповины.

— Быстрей! Плотней!

Близкие выстрелы не умолкали, те, что послабей и совсем слабые, продолжались тоже, венок из выстрелов обрамлял площадь. Все должны были пройти через выстрелы. Приезжий понял, что и он тоже должен. Он был пустой, словно его выпотрошили. Он провел взглядом по своей шеренге, все были видны, чересчур отчетливо видны на голом, пустом фоне. Все смотрели прямо перед собой, нимало не пеклись о нем, не находили ничего удивительного в том, что и он должен пройти вместе с ними.

Передние ряды больше не видели перед собой стен, они видели кустарник. Красивый парк переходил в светлый,

окруженный живой изгородью газон, посреди которого под обязательным для такой обстановки солнцем крутилась поливальная установка. Быстрей! Плотней! Они обогнули газон. Тут впереди все замедлилось, будто воздух за парком был не воздух, а вязкая масса, в которую ввинчивается голова колонны. Они больше не бежали, одна шеренга молча теснила другую. В воздухе висели выстрелы и запах влажной, прогретой солнцем травы. Приезжий хотел увидеть, что будет дальше, до сих пор только жалкие ошметки города между голов и плеч. Его сердце противилось торжественной тишине безумными ударами.

Назад — вперед — назад. Передние пятились назад, задние хотели протолкнуть их вперед и упирались. Колонна прорвалась и уже двумя частями хлынула на парк и поперечную улицу. Теперь перед ним больше не было штормовок, теперь перед ним было все. Улочка, ведущая от парка к площади, была запружена полицией. А между полицейской улицей и обеими частями колонны лежал большой белый треугольник. Несколько секунд треугольник не подпускал людей, словно магическая поверхность, при одном взгляде на которую цепенеют мысли и застывают мускулы. Задняя часть колонны первой стряхнула оцепенение, от нее вперед прошел толчок, мужчина шевельнулся, он был немолод, он достаточно проработал на Западном вокзале, он знал, что к чему. Пусть они оставят его без пенсии, пусть не присылают никого от союза. Плевать он на них хотел. Тут лопнула пружина, удерживавшая шеренги в колонне, а людей в шеренгах; некоторые отлетели в сторону, тяжелые и легкие, тишина взорвалась, и все таившееся в тишине исступление разлетелось под выстрелами. Приезжий пробежал под рукой мужчины, перевернулся и упал на мостовую. И вот словно он здесь родился и вырос, над ним сомкнулись волны города, ноги и юбки, небо и дома. Колонна рывком вторглась в белую улицу.

Паренька оттеснили, он сопротивлялся, схлопотал несколько ударов по затылку и по груди. Руки и ноги по-

лицейских обвились вокруг его тела, сплелись в живой клубок. Клубок вкатился, колыхаясь, на большую площадь. Усиленные наряды полиции оттесняли всех назад, в белую улицу, сминая ограду парка, топча газон, оттесняли их в узкие серые улочки позади парка, уминали все плотней, все жестче, покуда не утолили свою злобную ярость. Сжав кулаки, стиснув зубы, каждый на своем месте делал маленькие резкие шажки вперед, но всех вместе их тем не менее теснили назад, до отказа набивая ими тесные улочки, как набивают мешок. Мужчина яростно копался в себе самом, но выискивал лишь осколки тоски: зря сбивал ноги, Стефан, зареванная жена, перестоявший ужин. Он глянул по сторонам, отыскивая то, что успел потерять. Не женщину, она была рядом, и не приезжего, с тем все было кончено. Он глядел по сторонам, отыскивая паренька, не нашел, да и не мог найти при всем желании; паренек под конвоем двух полицейских уходил тем временем маленькими кривыми улочками, по которым он пришел сюда. Он поднял к окнам свое круглое загорелое лицо и навсегда запечатлел свою улыбку на лицах у мальчишек, которые глядели на него с любопытством и завистью.

И внезапно через поперечную улицу на ближайшей параллельной люди углядели на подходе новую колонну. Тогда они забыли про все на свете и прорвались в ту сторону, и новая колонна вобрала в себя прежнюю, людей и знамена. Те, кто шел здесь впереди, должно быть, уже завидели белую площадь, потому что они начали громко кричать, тогда как задние ряды все еще пели. Мужчина какое-то мгновение колебался, не зная, на что употребить свой голос, начал петь, потом вдруг, передернувшись от злобы, оборвал песню и начал кричать. Женщина внезапно осознала, что вполне может дойти до цели. Забыв про мужчину, за которого она до сих пор держалась, потому что встала с ним рядом у Западного вокзала, когда строились в ряды, она протиснулась вперед. Полиция проникла через боковую улицу, и какое-то время казалось, будто колонну вот-вот расколют. Стало совсем тихо, дыхание

уходило на то, чтобы пробиваться вперед. В голове колонны опять упали выстрелы, тяжелая, сдвоенная колонна сжалась и снова рванулась вперед. Над большой шестиугольной площадью лежало белесое, мутное пополуденное небо, пронизанное полосами света. Время было чуть после двух. Из впадающих на площадь улиц одна за другой торопливо вливались, врывались другие колонны из остальных частей города, все встрепанные, избитые, в крови. Белая площадь заполнилась кричащими людьми, вся площадь, за исключением узенькой полоски перед полицейским постом у решетчатых ворот посольства. Сакко, Ванцетти! Из болота тяжелой тоски он взывал о помощи. Большие жесткие крики, словно камни в мешке, который сейчас кинут в воду. Он не берег больше свою тоску, он расплескивал ее в крике. На левой стороне площади полиция начала теснить вправо поглощенных криком людей. Она теснила все сильней, устья улиц с правой стороны вновь начали заполняться людьми. Казалось, будто уже все позади. Женщина подумала про обратный путь, деньги за проезд, позапрошлый понедельник. Кулак мужчины разжался в кармане и начал искать; большим и указательным он снова нащупал монету.

По одной из левых, неохраняемых улиц подошла колонна, последняя большая колонна из южного пригорода. Оттесненные снова хлынули назад, полицию снова расчленили на части, площадь снова заполнилась до краев. Женщину еще раз подхватила волна, тело ее так прочно вместили в площадь, что она сама больше не могла им распоряжаться; ее лицо притиснули к позолоченным прутьям решетки. С лица мужчины штукатуркой осыпалась тоска. Едва ли во всем доме оставался хоть один уголок, где был бы не слышен их крик.

Интервью Анны Зегерс Вильгельму Гирнусу*

Вильгельм Гирнус: Дорогая Анна Зегерс! Для нас особая честь и большая радость приветствовать Вас у нашего микрофона. Учитывая большой интерес читателей, мы хотели бы о многом порасспросить Вас сегодня. О Вашем прошлом, о том, чем явилась для Вас Октябрьская революция. Это эпохальное событие, происшедшее пятьдесят лет назад, дало новое направление развитию всей мировой истории, и, наверное, на земле не найдется человека, на которого она так или иначе не оказала бы влияния. Особенно это касается, конечно, писателей. Поэтому позвольте спросить Вас: когда Вы впервые осознали истинное значение этого события? Что Вас особенно поразило в нем в тот момент и как Вы сейчас оцениваете это Ваше впечатление?

Анна Зегерс: Вы так ставите вопрос, дорогой Гирнус, что мне довольно трудно на него ответить. Не могу сказать,— я солгала бы, если бы стала утверждать,— что Октябрьская революция сразу же повлияла на мое сознание, мышление. Начнем с того — а мой возраст ни для Вас, ни для кого другого не является секретом,— что я была тогда совсем юной девушкой.

Вильгельм Гирнус: В 1917 году Вам было семнадцать лет.

Анна Зегерс: Да, и я жила в то время в маленьком городке на Рейне. Известие об Октябрьской революции пришло ко мне не сразу и не прямо, а кружным путем, по слухам, через

* Вильгельм Гирнус (1906—1985) — литератор и ученый, антифашист. Годы фашизма провел в тюрьмах и концлагерях. После победы — видный общественный и литературный деятель ГДР. Долгое время был главным редактором журнала «Зинн унд форм», где и появилось это интервью.

десятые руки, как говорится. То, что доносилось до меня, было настолько противоречиво и странно, что сама я не могла во всем разобраться. Но, однако, очень скоро я задумалась над этим, и очень скоро свершившееся стало для меня воплощением нового, сильного, неслыханного понятия о справедливости. Я думаю, как ни странно, возможно, это прозвучит, что именно таким было первое охватившее меня чувство, ведь тогда я еще ничего не смыслила в политике. Впервые я раз и навсегда поняла, хотя мне этого никто не объяснял, что существуют верхи и низы, возвеличенные и униженные. То, что мы теперь называем общественными классами, я осознала уже тогда, совсем юным человеком, правда, на свой лад.

Вильгельм Гирнус: И как же именно?

Анна Зегерс: Я видела, что есть люди, одетые хуже других, есть люди, у которых плохая обувь. Я стала стесняться носить обувь лучше, чем у них. Однажды я с ужасом наблюдала, как через город вели человека в оковах, какого-то бунтовщика. Я не знала, конечно, почему полицейские ведут его по городу. Но я хорошо помню, как он кричал им: «Вы можете упечь меня, куда хотите, можете заковать меня в кандалы, но вам меня не сломить!» — или, как говорят на Рейне, «вам меня не сшибить!» Все это, конечно, очень далеко от столь важного события, как Октябрьская революция, но я видела в этом прямую связь с нею.

Вильгельм Гирнус: Да, а потом Вы создали целый ряд литературных произведений на эту тему. Прежде всего, конечно, следует упомянуть «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре». Как связан выбор этой темы с Вашим новым отношением к миру, миру определенных человеческих отношений?

Анна Зегерс: Ваш вопрос напомнил мне еще одно важное обстоятельство, которое подготовило меня к тому, чтобы лучше понять события, происшедшие в России или — позднее — в Советском Союзе. Я уже говорила, что жила в Майнце, районе, оккупированном затем французскими войсками. Там мне попала в руки книга Барбюса "Le feu"

(«Огонь»), книга о несправедливости войны, о лозунге «Хлеба и мира», и я была уже подготовлена к восприятию этого. Вы спрашиваете меня о моих книгах. Но они появились намного позже, ибо я поняла, что такое Октябрьская революция, поняла разумом, а не только сердцем, уже в университете, где встретилась со многими студентами — эмигрантами из революционных стран.

Вильгельм Гирнус: И эти люди, с которыми вы встретились, послужили прообразами литературных героев Ваших последующих произведений.

Анна Зегерс: Да, это верно. Но сначала я все же написала маленькую книжку «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре», в которой было еще много непосредственности, и от этого, наверное — если мне будет позволено так выразиться,— привлекательности, потому что я писала ее еще очень некритично, стихийно, из одной любви к тому, что мне нравилось тогда больше всего: во-первых, море, во-вторых, то, о чем мы сейчас говорим: великие события в Советском Союзе. А позднее, в университете, когда молодые студенты, эмигрировавшие из своих стран, объяснили мне многое из того, о чем я лишь смутно догадывалась, я осознала наконец смысл событий, который до этого постигала лишь чувством.

Вильгельм Гирнус: Когда Вы в первый раз познакомились с действительностью, рожденной Октябрьской революцией? То есть когда Вы впервые побывали в СССР?

Анна Зегерс: Первый раз я приехала в СССР на Харьковскую конференцию писателей. Я сейчас расскажу Вам то, о чем, по-моему, говорила уже два-три месяца назад в Москве, и боюсь даже исказить свои собственные слова. Но я все же повторю. Там я впервые собственными глазами увидела то, о чем читала в книгах, например, в «Цементе», в «Брусках», «Феврале», да всех не перечислишь. Но увидеть — совсем другое, чем прочесть. Мне кажется, мое поколение читало эти книги примерно в то же время, что и смотрело фильмы «Броненосец «Потемкин», «Потомок Чингисхана», «Путевка в жизнь». Эти книги и филь-

мы произвели на меня необычайно сильное впечатление. Я ничего подобного раньше не видела и не слышала.

И вот когда я наконец приехала в Советский Союз, то, как и любой наивный путешественник, испытывала такое чувство, будто не фильмы отображают людей, а люди в Советском Союзе являются отражением их фильмов и книг. Там то и дело возникало ощущение: вот он живой человек из «Цемента», а вот человек, каким мы его видели в таком-то и таком-то фильме. Огромное впечатление произвело на меня пребывание на Украине, поездка на Днепр, где возводилась мощная электростанция «Днепрогэс», которую позже, при наступлении немецкого вермахта, взорвали сами русские, чтобы она не попала в руки фашистов. Теперь эта электростанция восстановлена. Именно там, и как раз об этом я рассказывала в Москве, я увидела то, что потрясло меня, и не только меня, а всех, кто был тогда с нами в поезде,— этот новый, неизвестный нам способ работы — соревнование между двумя берегами. Каждый берег заполнял цементом деревянную опалубку для укрепления берегов. Ночью, когда стемнеет, на обоих берегах огнями загорались цифры. И было видно, какой берег вышел победителем. И еще я была поражена, когда мне показали книгу — Вы о ней только что меня спрашивали — «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре», которую уже успели перевести на украинский. Мне подарили ее комсомольцы, и я была очень взволнована и рада.

Вильгельм Гирнус: Очевидно, рады еще и тому, что молодежь в этой стране так живо интересуется литературой.

Анна Зегерс: Да, тому, что они были знакомы с моей книгой, читали ее и критиковали, беседовали со мной о ней.

Вильгельм Гирнус: А потом в Германии произошел роковой переворот — власть узурпировали фашисты, и Вам пришлось покинуть родную страну. В какой мере восприятие Октябрьской революции, ставшее частью Вашего «я», помогло Вам справиться с этими трудностями, выйти из них непобежденной, не потерявшей мужества и веры в возможность обновления Германии?

Анна Зегерс: Я не хочу преувеличивать, но думаю, что все, что я пережила, увидела, прочитала, помогло мне держаться в жизни определенного направления. Я уже рассказывала Вам о молодых людях в университете, которые помогли мне кое-что уяснить в революции. Я хорошо помню, как с группой других немцев впервые прибыла в Париж и одна молодая женщина сказала мне: «Теперь мы сами стали такими же, как твои «Спутники»,— так называлась моя книга об эмигрантах. Я слегка удивилась и задумалась. Но как бы то ни было, во Франции я продолжала работать точно так же, как и прежде. Я написала там несколько книг. А когда начались события в Испании, я поехала на Мадридский конгресс вместе с некоторыми другими писателями. Я думаю, что события в Испании наряду с советскими событиями, я говорю, конечно, не о личных, а об общественных событиях, событиях мирового значения, произвели на меня — если вообще можно установить какую-то шкалу измерения переживаний — наибольшее впечатление.

Вильгельм Гирнус: А в Испании что именно?

Анна Зегерс: Испанский народ, испанский ландшафт, вооруженная борьба против фашизма...

Если у нас дома фашизм победил без какой-либо вооруженной борьбы, то там я впервые увидела вооруженное сопротивление, хотя впоследствии оно и окончилось трагически. Я заметила, насколько участие в борьбе изменяет всего человека, дает ему силу и преображает его. Большое впечатление произвели на меня интербригады, в состав которых входили многие знакомые мне молодые немцы и немецкие писатели.

Вильгельм Гирнус: Разрешите опять вернуться к прошлому. В Москве проходил съезд писателей, на котором выступал Горький. Вы там не присутствовали, и у Вас имелись на то особые причины. Вы были тогда в Австрии, так сказать, в поисках «нового героя».

Анна Зегерс: Только не говорите так, будто я искала «нового героя». Я никогда ничего подобного не искала. Я просто встречала или не встречала людей, которые для

меня что-то значили или не значили. Я действительно поехала в Австрию после того, как там произошел путч Дольфуса и вооруженные столкновения с рабочими в Вене. Я побывала не только в Вене, но и в маленьких городках, слушала процессы против шуцбундовцев, выступавших с оружием в руках.

Вильгельм Гирнус: На этом материале и возник рассказ «Последний путь Коломана Валлиша».

Анна Зегерс: Да, меня преследовала мысль, что я должна пройти весь тот пусть, спуститься через горы к Клагенфурту.

Вильгельм Гирнус: И Вы открыли следы деятельности Коломана Валлиша?

Анна Зегерс: Я ничего не открывала. Все знали, откуда он пришел, и где он собирался со своими людьми, и как они рассеялись, и что с ними стало.

Вильгельм Гирнус: Очевидно, именно вооруженное сопротивление австрийских рабочих побудило Вас написать этот рассказ.

Анна Зегерс: Да, об этом я написала и небольшой роман «Путь через февраль», и рассказ о Коломане Валлише.

Вильгельм Гирнус: А потом Вы создали роман «Седьмой крест», который, будучи уже широко известен во всем мире, оказал после 1945 года такое глубокое воздействие в Германии. Что было поводом к написанию романа и как отразились исторические события на его судьбе?

Анна Зегерс: Когда я закончила книгу, немецкий вермахт уже приближался к Парижу. Помнится, я очень плакала, когда сжигала рукопись романа. Я боялась, что, если немцы займут наш дом и она попадет к ним в руки, это повредит и другим его обитателям. Мы уезжали, мы хотели убежать от фашистов. Все надеялись, что мы сможем скрыться за Луарой. Но вермахт нагнал нас. Однако один экземпляр рукописи был уже отправлен в Соединенные Штаты и находился у Франца Вайскопфа. И Франц Вайскопф постарался, чтобы роман был принят издательством.

Вильгельм Гирнус: Вы ведь пытались бежать от нацистов не одна, с Вами были оба Ваших ребенка?

Анна Зегерс: Одна я, естественно, не была. Нас было десятки тысяч, и, конечно, мои дети были со мной. Мы не учли, что вермахт продвигался быстрее нас,— ведь они ехали на машинах, а мы шли пешком, и нам пришлось вернуться обратно. Мы еще какое-то время жили в Париже, пока наконец нам не удалось переправиться в тогда еще свободную часть Франции с помощью Жанны Штерн...

Вильгельм Гирнус: Которая, кстати, тоже живет сейчас в Германской Демократической Республике.

История, рассказанная в романе «Седьмой крест», не могла основываться на непосредственных Ваших переживаниях, ведь Вы уже до того были вынуждены уехать из Германии. Как же Вы пришли к этому роману? Находили материал?

Анна Зегерс: Мне много рассказывали о происходящем в концлагерях. Я уже говорила, что часто бывала в швейцарской части Рейнской области и разговаривала со многими беженцами. Кто-то из них и поведал мне эту необычайную и страшную, эту невероятную историю о кресте, к которому привязывали заключенных, пойманных после побега. Постепенно во мне созревало — не знаю, как это лучше назвать,— не желание, не чувство и даже не потребность; во мне — как в человеке, который, скажем, спрашивает себя, какое место лучше всего подходит для строительства дома,— выросло предчувствие и уверенность в том, что самое лучшее, раз уж я хочу писать о Германии, сделать человека, который спасся, главным героем моей книги. Я хотела показать, почему другие не спаслись, почему спасся именно этот. И еще я хотела бы Вам кое-что сказать. Во время поездки в Испанию кто-то обратил мое внимание на роман, которого я до того не знала. И эта книга повлияла, хотя этого никто не подозревает, на развитие темы романа «Седьмой крест». Я не знаю, может быть, он Вам случайно знаком? Это итальянский классический роман «Обрученные».

Вильгельм Гирнус: ...роман Алессандро Мандзони “I promessi sposi”*.

* «Обрученные» (*итал.*).

Анна Зегерс: Да, именно. В этом романе на основе одного события раскрывается вся сущность, все черты народа, и я подумала тогда, что побег — это событие, которое дает мне возможность раскрыть разные черты моего народа.

Вильгельм Гирнус: Это очень интересно. Но тем самым Вы как бы признали, что спасение одного заключенного имеет символический смысл. Вы хотели сказать, что в народе существуют силы, способные спасти себя и Германию.

Анна Зегерс: Да, конечно. Впрочем, меня часто спрашивают, почему эта книга — а она была издана сначала на английском языке в США, во времена Рузвельта,— вызвала такой отклик вне Германии; ведь тогда в мире знали разве что об ужасах, которые творят немцы, и по праву писали об этом. Может быть, благодаря моей книге люди поняли, что Гитлер обрушился прежде всего на собственный народ, против антифашизма в своей собственной стране. Вот что увидели люди. И это удивило их.

Вильгельм Гирнус: Потом Вы в тяжелейших условиях переправились на пароходе — сначала Вы были в Верне с Вашими детьми — на Мартинику, на Антильские острова. Существуют литературные свидетельства этих Ваших мытарств. А оттуда Вы попали в Мексику. Что оказало там на Вас влияние в плане творческом, человеческом, политическом?

Анна Зегерс: Во-первых, сами Антильские острова. Я должна признаться, что много-много позже написала об Антилах. В Мексике я много читала о Сан-Доминго, мое внимание особенно привлекло время, когда на Сан-Доминго был правитель негр, Туссен-Лувертюр. Потом постепенно, уже здесь, в Берлине, я написала несколько новелл, действие которых происходит на Антильских островах. Может быть, меня тянуло туда, и потому мне захотелось описать тамошних людей и их жизнь. Кое-что я написала о Мексике. Скоро выйдет одна история под названием «Настоящий синий цвет». Эта история — кажется, ее называют повестью, потому что она довольно длинная,— происходит в Мексике, среди мексиканцев, затрагивает

отчасти и события в Германии времен войны. Мексика — страна, в которой, когда я там жила, главное выражалось через изобразительное искусство. Если бы там появился свой Гитлер, ему пришлось бы, вместо того чтобы сжигать книги, сдирать со стен фрески, потому что мексиканские художники нарисовали всю историю своего народа на стенах. Я рассказываю это, так как Вы меня спрашивали: что и почему мне там понравилось. Мне там необычайно нравилось, я многому научилась в этой стране и мечтаю вновь побывать там хотя бы раз.

Вильгельм Гирнус: Вы говорили, что вступали в контакт с людьми, да и повесть Ваша, которая в скором времени выйдет в свет, тоже из жизни Мексики. Но для этого надо, на мой взгляд, хотя бы немного знать испанский.

Анна Зегерс: Когда я была там, я умела немного говорить по-испански, но с тех пор уже многое забыла. Я жила там и, естественно, общалась с людьми, говорящими по-испански. Я долго лежала в больнице, что с точки зрения творческой было для меня очень полезным, потому что там я узнала многих людей, я говорила с ними и понимала их язык. С тех пор я гораздо ближе познакомилась и с испаноязычной литературой.

Вильгельм Гирнус: Ваше творчество чрезвычайно многообразно. Действие в Ваших произведениях происходит большей частью в Германии, но переносится и в Высокие Татры, в Австрию, на Антильские острова, в Мексику. Самые разнообразные проблемы и темы привлекают Вас, побуждают к их литературному воплощению. Как Вы находите материал для своих произведений? Как та или иная тема попадает в Ваше поле зрения — случайно или не совсем случайно?

Анна Зегерс: Это происходит совершенно по-разному, и, честно говоря, я считаю абсолютно неверным утверждать, что должно быть так, а не иначе. Я думаю, такого закона не существует ни для одного писателя или художника, а уж для меня — точно нет. По себе знаю, насколько это не соответствует действительности. Я не могу также утвер-

ждать, что́ должно быть записано немедленно. Иногда материал был мне недостаточно знаком — и только спустя лет десять он становился мне ясен. Конечно, если я должна воззвать к революции, то тут уж промедление невозможно. Случалось, я писала о чем-то по горячим следам, например, «Последний путь Коломана Валлиша», о котором мы с Вами уже говорили. Иногда я встречаюсь с чем-то, что побуждает меня написать об этом так быстро, как пишут репортажи. Вопрос, однако, в том, будет ли написанное сразу же после события по-настоящему хорошо. Но сомнительно и то, будто хорошо все, что заставляет себя ждать долго. Все складывается по-разному. Я не могу вывести правило, как я подхожу к тому или иному материалу, и даже не хочу пытаться, потому что это было бы все равно неправдой.

Вильгельм Гирнус: Позвольте мне задать вопрос, как бы обобщающий нашу беседу. Повлияло ли такое событие, как Октябрьская революция, на выбор Ваших творческих задач?

Анна Зегерс: Разумеется, она оказала на меня большое влияние. Я пишу с тех пор, как научилась выводить буквы. Совсем маленьким ребенком, едва научившись азбуке, я сочиняла, когда болела, небольшие истории к моим переводным картинкам. Позже я, кажется, писала сказки, новеллы и тому подобное. Но когда я начала осознавать, что происходит в мире,— а я уже объяснила Вам, что благодаря Октябрьской революции во мне выросло понимание смысла справедливости, различия между высшими и низшими, между бедными и богатыми, между хорошими и плохими и так далее,— я, естественно, перенесла это новое восприятие на мое творчество, и для меня стала немыслима тема, которая так или иначе, сознательно или бессознательно, не была бы отмечена духом революции.

1967

Ганс Баймлер

Баймлер был одним из тех, о ком Шарль де Костер в своем «Уленшпигеле» — этой хронике сурового и бурного, подобно нашему, времени — сказал, что они воплощают в себе неистощимый юмор, неподкупный разум, нетленное сердце своего народа.

Выносливый, стойкий человек. Такой сдержанный, что никогда не выделялся из своего окружения. В его светлых лукавых глазах сверкал острый ум. Ум, который порой обвиняют в ломке подлинного чувства, в искажении истинной природы. Словно бы ум — это не сама природа, не лучшее в природе человека! Словно бы он не присущ человеку, как птице крылья!

Баймлер родился в Вальдтурне, в Баварии, в 1895 году. Его отец был сельскохозяйственным рабочим, мать — служанкой. Баймлер остался верен своим истокам даже в самом малом — что характерно для людей, умеющих хранить верность,— языку своего края, его юмору, его сдержанному смеху. С губ его не слетало ни единого слова, хотя бы по звуку фальшивого, поддельно народного, как это случается у лицемеров, которые лишь делают вид, что выступают в защиту народа.

Уже ребенком ему пришлось работать поденщиком. Окончив школу, он попал на завод, а восемнадцати лет стал членом союза металлистов. Во время первой мировой войны он был унтер-офицером на минном заградителе. Красный матрос, он сражался за землю своей родины, за тех, кто, как и он, истекал кровью за эту землю; он сражался за тех, кто днем изготовлял снаряды, а ночью латал детское белье, он сражался за тех, кто зачат был в отпуске с фронта на родину, а родился уже, надо думать, без отца. Он сражался за работу, за человеческое достоинство, за сытых детей, за все, стало быть, за что мы все сражаемся, только неутоми-

мее, только безоговорочнее. Заключенный в крепость, он читает и учится. А позднее работает на паровозостроительном заводе.

Окружающие быстро распознавали его. Распознавали в нем единство сердца и ума, единство дерзания и скромности, мужество додумывать все до конца и до конца действовать. Его избирают в совет представителей рабочих (заводской комитет), в окружной комитет, в Центральный Комитет его партии, в рейхстаг. Людям, подобным ему, можно доверить посты, которые сулят не славу, не доходы, а застенки и преследования.

10 апреля 1933 года штурмовики горланят: «Вот ты и попался, Баймлер!» Они убедили ораву невежественных деревенских парней, что этот человек — «бонза», обманщик. Те избивают Баймлера, топчут его ногами. В истории человечества известны подобные недоразумения.

Две недели Баймлера секут плетьми в Дахау. Его запирают в камеру с изувеченным трупом его друга Дресселя. А ему самому вкладывают в руки веревку.

Для Баймлера, однако, жизнь — это поле боя, которое человек не имеет права покинуть добровольно. На фронте Баймлер научился продираться сквозь колючую проволоку, через которую пропущен был электрический ток. И есть еще немцы в Германии, которые прячут такого человека, как Баймлер, разбудивший в них чувства более сильные, чем страх смерти. Его жену и сына арестовали как заложников. Юноше удается, как и отцу, бежать из Германии. Жену выпустили из тюрьмы только тогда, когда Баймлер умер.

Для Баймлера Испания была тем местом действия, где он мог рисковать своей вновь обретенной жизнью. А что жизнь дана, чтобы ею рисковать, в этом Баймлер никогда не сомневался. Его называли Безбожником. Но никто не понимал так хорошо, как он, что пшеничное зерно останется одиноким, если не умрет, что за свою жизнь, чтобы ее сохранить, не следует дрожать.

Когда мы последний раз с ним виделись, мы говорили об ушедших из жизни наших баварских друзьях, о Дресселе,

с искалеченным трупом которого его заперли в самую жуткую ночь в его жизни, о Штенцере, труп которого был так истерзан и так усох, что жена, словно в древних сказаниях, узнала его только по шраму,— и тут Баймлер сказал:

— Сражает всегда лучших.

Конечно, всегда лучших. Лучшие всегда шагают в первых рядах.

1 декабря 1936 года в час тридцать Баймлер погиб под Мадридом, когда выносил раненого друга из огня. И опять гитлеровские наемники вопили: «Вот ты и попался, Баймлер!»

Довольно! Не пристало нам превозносить восторженными жестами и трескучими речами друга, жесты которого были предельно скупыми, речи которого были простыми и скромными.

1937

Эгон Эрвин Киш

Дорогой Киш!

Представь себе, сегодня меня внезапно пригласили на берлинское радио. Чтобы я произнесла речь о тебе. Это как раз то, чего ты и я больше всего не любили. Но товарищи утверждают, что я должна это непременно сделать. Они утверждают, что ты умер. Киш, какие нелепые идеи приходят в голову твоим собратьям, этим журналистам, чего только они не сочинят, на какие только вымыслы люди не ловятся, Киш! Надо только знать тебя, чтобы понимать, что ты никогда, никогда, никогда не подведешь нас. Ты, у которого жизнь была самой насыщенной, у которого жизнь и есть самая насыщенная, как же мог ты совершить такое предательство по отношению к жизни и уйти от нас? Ты, с тех пор как вернулся из распавшейся австрийской армии после первой мировой войны, был всегда верным товарищем. Ты был верен нам, ты был верен Октябрьской

революции, ты был верен всем нам, юным и старым друзьям. Как же можешь ты, скажи-ка, вдруг подвести нас?

Когда и где бы мы ни встречались, в Берлине, или в Париже, или в Мадриде, или в Мехико, твои книги были всегда одновременно нашим местом встречи, и каждая книга, и каждое место встречи были всегда важным событием в твоей жизни и в моей и в том времени, которое мы вместе прожили. Помнишь, Киш, как в те дни, когда ты матросом проплывал Панамский канал, тебя догнала телеграмма от Гизль, и тогда же была создана твоя книга «Американский рай», книга, которую ты с тем же успехом мог бы написать сегодня.

Нам тогда казалось, что ты с давних пор всегда с нами. Уже тогда нам представлялось достаточно долгим то время, которое мы прожили вместе. Ты был тогда самый старший и самый молодой среди нас. Самый молодой, потому что молодел, принимая участие во всех событиях, происходящих в мире, и понимал их как самый молодой среди нас, молодых. Самый старший, потому что видел дела и события, которые обычно отнимают силы и время у целых поколений, потому что ты давно уже был «Киш, неистовый репортер» и написал уже прославленные книги, написал их с такой силой, с такой достоверностью, что все получаемые в них сведения производили впечатление легчайшей игры, что люди читали твои книги, считали их занимательными и только потом понимали, что проглотили чертовски страшную правду. Так было, к примеру, с «Делом Редля», когда ты раскрыл измену в австрийском генеральном штабе, которая помогла поколебать австрийскую монархию. И когда ты написал свою книгу «Классическая журналистика» и другую книгу, «Запиши это, Киш», о первой мировой войне. Ты показал всем, куда следует приложить свой талант. Ты всегда отдавал свой талант делу, которое стоило самоотверженной отдачи. И хоть ты никогда себя не щадил и забирался в самые далекие края, чтобы написать книгу «Азия — совершенно преображенная», ты способен был, к примеру, здесь, в Берлине, часами играть с сынишкой друга только потому,

что обещал его отцу написать подробное письмо об этом ребенке. Ах, Киш, ты и Гизль, твоя жена, где бы вы ни были, всегда вокруг вас словно сами собой воздвигались четыре стены. Мы могли вместе с вами юркнуть внутрь этих стен, куда бы ни занесло нас всех вместе в этом фантасмагорическом мире, в Версаль или — во время гражданской войны — в Мадрид, а позднее — в Мехико. И как-то между прочим, не знаю когда и как, создавались эти значительнейшие книги, которые называются либо «Высадка в Австралии», либо «Ярмарка сенсаций», либо «Открытия в Мексике». Они были словно бы случайно рассказаны. Казалось, при работе над ними автор не представлял их себе столь уж значительными.

Знаешь, Киш, ты как-то сказал нам, что терпеть не можешь, когда люди носят свои достоинства на себе словно бирку, будто звери в зоологическом саду, у которых на клетках висят таблички: лев, белый медведь и т. д. Разумеется, тебе хотелось, чтобы тебя любили за твои достоинства, и теперь мы думаем — все происходящее надо действительно считать правдой, мы недостаточно глубоко тебя любим.

Ты мчался сквозь жизнь, но жизнь мчалась еще быстрей. И у каждого, Киш, кого ты коснулся, осталась частица твоих достоинств и твоего существа. Киш, что казалось нам в те годы остроумием и фантазиями, то теперь, когда прошло время, раскрылось как причуда твоих познаний. Голо и пусто стало внезапно кругом — оттого, что ты ушел. Мы не в силах этого постигнуть. Неужели тебе и правда удалось оставить нас одних? У нас такое ощущение, будто ты пустил в ход один из твоих многих трюков, чтобы где-то в дальних краях перебраться через запрещенную границу, а позже сочинить тем более необычайный, тем более неистовый репортаж обо всем, что ты видел; теперь, к примеру, ты расскажешь о никому не ведомой стране, той единственной, что не известна ни одному министру во всех на свете министерствах иностранных дел.

1948

Ольга Бенарио-Престес

Ольга Бенарио, берлинка, родившаяся в Мюнхене, была совсем юной девушкой, когда последовала за Престесом в Бразилию.

Престес* — бразильский революционер, один из самых известных людей нашего времени среди множества великих и блистательных революционеров, участвующих в боях трудящихся всех стран.

Имя Престеса знает каждый рабочий в Бразилии, каждый неграмотный негр на самой удаленной ферме в девственном лесу. Марш Престеса с армией безработных через девственные леса от плантации к плантации, длящийся многие месяцы,— знаменательное событие в современной истории. Это к тому же героическая акция во имя мира. Биография этого человека появится в самое ближайшее время на немецком языке.

Ольга поняла, чего требует от нее на ее новой родине любовь к рабочему классу всех национальностей и цветов кожи и любовь к этому особенному человеку. Берлинская молодежь гордилась этой девушкой. Когда она, до отъезда из Берлина, появлялась на какой-либо демонстрации, грациозная и сияющая, то была подобна фигуре, украшающей нос нашего стремительно мчащегося судна. В это же время она сыграла с полицией злую шутку. Вместе с несколькими друзьями, переодетыми полицейскими, она похитила учителя Брауна, своего друга, из тюрьмы.

Страна, куда Ольга последовала за мужем, по размерам — третья в мире, после Советского Союза и Китая. В полуколониальных странах использование сырья зависит от финансовой помощи иностранных капиталистических группировок. Из-за этого национальная самостоятельность, кото-

* Престес Луис Карлос (род. в 1898 г.) — деятель бразильского и международного коммунистического движения. Генеральный секретарь ЦК Бразильской компартии (1945—1980 гг.). За революционную деятельность подвергался репрессиям. В 1964 г. заочно осужден на 14 лет тюрьмы. В октябре 1979 г. амнистирован. Из эмиграции вернулся в Бразилию.

рую завоевал тот или иной латиноамериканский народ, его освобождение от испанского или португальского ига превращаются вскоре в угнетающую зависимость. США обеспечивают себе ныне колоссальные прибыли благодаря использованию бразильских полезных ископаемых, и они преследуют всякого, кто станет им поперек дороги.

Уехать в Бразилию значило — сражаться непреклонно. Сражаться за ее народ и быть готовым к любым преследованиям. Кто прочтет биографию Престеса, поймет еще лучше, как удавалось этому человеку привлекать к движению, во главе которого он стоял, как раз самых лучших людей, встречавшихся на его пути. Ольга была не единственным человеком из Германии, вовлеченным в это движение. Эверт, друг Престеса, принадлежал к этому движению, и его жена из Мазур, Сабо-Эверт – во время допроса пытками едва не замученная до смерти, долгие годы она лежала больная в одиночной камере рядом с одиночной камерой Престеса.

Брак Престеса и Ольги начался с борьбы и преследования. Полиция, которую оболванили и подстрекали пропагандой, плохо оплачиваемая богачами страны, хорошо оплачиваемыми империалистами, гналась за человеком, портрет которого висел в самых убогих хибарах. Часто рядом висел и портрет Ольги, его юной спутницы из какой-то неведомой страны. Портреты этих двоих ненавидели господствующие классы именно потому, что из-за этих портретов местные жители покупали газеты, которых не могли прочесть. А они-то, эти местные жители, нужны были американскому капиталу, дабы расчищать под пашни его необъятные земельные владения. Супруги Престес были застигнуты полицией в загородном доме. Беременная женщина бросилась к Престесу и спасла его от нацеленных пистолетов. Так нерожденное дитя охранило своего отца.

Поначалу Ольгу держали в тюрьме вместе с мужем. Беременность, спасшая жизнь ее мужу, не избавила ее от жестокостей. Очень скоро, несмотря на отчаянное сопротивление, ее перевели из политического отделения в общую

женскую тюрьму. Там, среди преступниц, она оставалась, пока ее не выдали Германии.

Гитлеровское правительство добилось у правительства Бразилии высылки Ольги вместе с ее подругой, Сабо, морем в Германию. Обеих женщин по прибытии в Гамбург нацистская полиция погнала босиком, в отрепьях, через весь город. На них глазела, над ними насмехалась толпа зевак, более невежественных, чем безграмотные жители Бразилии. «В какой стране фашизм не означает дикости и варварства?» Эти слова Димитрова, сказанные им на суде, характеризуют судьбу Ольги как на ее второй родине, так и в собственной стране.

Между тем весть об этих событиях вызвала движение солидарности в Европе и Америке, о котором обе женщины вначале ничего не знали. Как всегда, когда чувство ответственности и солидарности выводит людей из состояния пассивности, враги делали все что могли: они скрывали эти события от тех, кого эти события касались; они высмеивали эти события перед теми, кого эти события могли тронуть.

Сабо вскоре разлучили с подругой. Ее отправили в лагерь Равенсбрюк, Ольга Бенарио родила ребенка в тюремной камере в Берлине. Английские квакеры, которых уговорили друзья Сабо и Ольги, настояли на выдаче ребенка. Они передали его матери и сестре Престеса. Разлука с новорожденной дочерью, едва не погибшей в заключении, была для матери одновременно счастьем и горем.

Ольгу перевели из тюрьмы в концентрационный лагерь. Там она до самой смерти утешала своих соузниц, учила их и побуждала к сопротивлению. До последнего вздоха отдавала она силы и молодость тому делу, ради которого жила.

Ее подруга, Сабо, получила в Равенсбрюке предложение от Гиммлера — отречься от коммунизма и обрести свободу. Сабо ответила: «В истории бывает время гонителей и время гонимых. Сейчас — время гонителей. Но очень скоро настанет время гонимых». Через две недели ее родные получили урну с ее прахом.

Ребенок Ольги Бенарио попал через Кубу к своим родственникам в Мексику. Отец его был еще в тюрьме. Он увидел ребенка только позже, когда недолгое время оставался на свободе. Ибо Престес уже давно живет на нелегальном положении. Тот, кто схватит Престеса, не обязан даже выдавать его властям. Он вправе пристрелить его на месте. Но Престес живет, укрытый где-то в огромной стране. Народ хранит его как сокровище, враги же народа ненавидят его и преследуют. Дочь Ольги Бенарио смогла между тем покинуть эту страну.

Она уверена в нашей любви. Мы, все вместе, кто эти страницы пишет и кто их читает, приветствуем эту девочку как дочь и сестру.

В стране, где она родилась в тюремной камере, растет новая, счастливая, свободная молодежь.

1951

Приветствие Пабло Неруде

«Всеобщая песнь» на немецком языке

В этом месяце Пабло Неруде исполняется пятьдесят лет. Пять лет назад он закончил свою эпопею «Всеобщая песнь». Он уже давно вышел «из тюрьмы одиночества... в гущу боя...»* — как сказано в одной из последних строф эпопеи.

Он был одинок, пока ему не удалось сломать один за другим все засовы, дабы разделить с людьми их страдания и радости, принять участие в их боях и победах. Всей силой своего «я», всей силой своего искусства — что в его случае совпадает.

Одиноким может быть и человек, живущий в самой гуще общества. Неруда оставался внутренне одиноким, хотя постоянно был окружен толпой, будучи консулом своего правительства в европейских и азиатских странах. Его стихи

* Перевод С. Кирсанова.

оставались абстрактными, пока окружающий его мир представлялся ему абстрактным, пустынным, лишенным стержня. Но во время гражданской войны в Испании, в дни мадридского конгресса, когда он пригласил к себе в дом писателей, участников конгресса,— консульство Чили оставалось открытым в городе, подвергавшемся непрерывному обстрелу,— он проявил себя уже чуточку другим, а не только радушным хозяином дома. Он не был больше одинок, барьер между хозяином дома и гостями рухнул, у всех у нас была одна крыша, один дом: сражающийся испанский народ.

Когда немцы, сражавшиеся в Испании, помогли спасти Мадрид, в его стихотворении в честь интернациональных бригад прозвучало:

> Пусть все звезды, все колосья Кастилии и мира
> запишут ваши имена, вашу суровую борьбу,
> вашу победу, тяжелую и теплую, как сердце дуба.
> Ибо вашей жертвой вы возродили доверье к земле...*

Он сохранил и сохраняет это доверие к земле и веру в земные дела благодаря своей доброте, благодаря своей человечности, благодаря своему мужеству и прежде всего благодаря своей поэзии. Призывать людей к действиям и даже из холодных сердец высекать искры — значит, одолеть и собственное одиночество.

В его многоцветном оживленном доме в Мехико двери всегда были широко открыты; дом этот подобен был лугу с диковинными и скромными цветами для всех. Но его самого, который радушно приглашал людей из всех частей света, тянуло домой, дабы своим поэтическим языком бороться вместе со своим народом. Он вернулся в Чили.

Неруда стал депутатом от коммунистической партии. Пересекая из конца в конец страну во время избирательной кампании, он читал свои стихи в одном городе за другим. Президент Гонсалес Видела предал свой народ и своих друзей; внезапно на стенах домов Сантьяго появились

* Перевод И. Эренбурга.

воззвания, в которых президент приказывал преследовать Неруду.

Неруда ушел в подполье. Человек, раздобывший кров бесчисленному множеству беженцев, сам теперь оказался без крова. Но его народ, его истинный родной дом, охранял и укрывал его. И теперь опять не было никакой разницы между хозяином дома и гостем, никаких барьеров между родиной и родным домом, между народом и его любимым поэтом. Неруда нашел много разного рода убежищ в это тяжкое время.

И однажды он вновь выступил перед нами, целый и невредимый, на Первом Всемирном конгрессе сторонников мира в зале Плейель в Париже, наш гость, наш радушный хозяин, наш друг.

Свой день рождения он празднует, вновь вернувшись на родину, в Сантьяго, и мы желаем ему — как и он это делал,— чтобы имя его оберегалось, ибо он, Неруда, помогает нам спасти веру в дела земные. А это — вера в будущее, в силу человека, в жизнь.

Мы, в Германии, можем еще более радостно праздновать его день рождения вместе с ним, поскольку во всей полноте понимаем, кто есть Пабло Неруда. Ведь недостаточно знать о поэте только обстоятельства его жизни и его политические убеждения. Нужно сердцем воспринимать его поэзию. И мы способны на это, читая «Всеобщую песнь» на немецком языке. Эрих Арендт* покажет себя столь же великодушным, как и Неруда, и мы вместе пошлем его перевод поэту как подарок ко дню рождения из Германии. Об этом переводе можно сказать не более и не менее того, что он достоин оригинала.

Арендт со свойственной ему настойчивостью, с горячей и строгой любовью следовал за мыслью эпопеи. Поэтому в переводе мы обретаем именно то, что выражает испанский оригинал. Арендт в послесловии к своему переводу

* Арендт Эрих (род. в 1903 г.) — немецкий поэт (ГДР). Член КПГ с 1926 г., в 1933—1950 гг. в эмиграции, участник национально-революционной войны в Испании 1936—1939 гг.

дал комментарии, так что нет смысла повторять здесь то, что каждый сам найдет в книге. Многие имена и события во «Всеобщей песне» еще не знакомы читателю в Европе. Эту неосведомленность не может преодолеть переводчик, который не вдумывается в сокровенный смысл переводимого текста. Всякое искусство живет благодаря ассоциациям, благодаря мыслям и чувствам, которые возникают у людей, когда то или иное имя или та или иная картина будят в них воспоминание. Ныне, к примеру, у нас все дети знают, кто такие Томас Мюнцер или Карл Либкнехт; они знают, как жили эти люди и для чего они жили, о чем они думали и что совершали. Но наши дети не знают этого о Боливаре или Морелосе*. Поэтому их фантазия не готова еще воспринимать связанные с этими незнакомыми именами грандиозные зачастую картины и понятия.

Латиноамериканский континент и его история до сегодняшнего дня, не говоря об исключениях, поразительно чужды нам. Не только чужды, а как сказал один из ученых этого континента, они едва ли не забыты историками. Между тем этот континент породил величайших людей, без идей и деяний которых нельзя себе представить борьбу народов за свободу.

Этот континент породил таких людей, как Хуарес (о нем в лучшем случае знают, что он победил французского императора Максимилиана и приказал его расстрелять), о нем Неруда говорит:

...если бы нам удалось докопаться
до сокровенного пласта родной земли,
до глубинной материи сути, если б
наша лопата вдруг зазвенела
на дне рудника о металл наших республик,

мы бы извлекли на свет твою сущность —
сплав твоей твердости и доброты.

* Морелос Хосе Мария (1765—1815) — руководитель освободительной борьбы мексиканского народа против испанских колонизаторов в 1811—1815 гг., национальный герой Мексики.

И добавляет:

Вслушавшись в твое немногословье,
взглянув на твой потертый сюртук,
на твое лицо, вылепленное из мексиканской земли,
никто тебя не поймет, если сам не родился
на наших равнинах, не вышел из нашей печали,
из нашей горной гончарной глины*.

В последние годы наши люди все лучше и лучше понимают, что судьба их собственного народа неразрывно связана с судьбой других народов, уважение к собственной культуре — с уважением к культуре других народов. Неруда и его переводчики немало сделали для понимания нашими людьми чувств и мыслей людей латиноамериканского континента. Для понимания животрепещуще кровавой сути таких понятий, как колониализм, эксплуатация, рынки сбыта, расовая ненависть, война.

В своем послесловии Арендт пишет, что красота страстной, мыслящей, действенной поэзии Неруды открывается читателю только после известных усилий. Красоту поэзии нельзя предложить человеку как зрелый плод. И так как Неруда не играет понятиями и образами абстрактно или только чисто ритмически, а всегда дает совершенно точные примеры, но примеры на темы, читателю часто еще незнакомые, кое-кому понадобятся «известные усилия». Тогда эта поэзия увлечет их не только как чуждая им музыка, но они поймут ее и тем более полюбят.

Горький отзывался резко критически о тех литературных произведениях, в которых основная идея приклеена к герою, как плакат. Подобных плакатов во «Всеобщей песне» нет. Наша любовь к чужому нам народу, наше желание вникнуть в его проблемы, наше умение вчитаться — вот что тут важно. Важно было это и переводчику. Эта работа — полная противоположность некоей игре с благозвучными формулами. Неруда высмеивает сих «небесных поэтов»:

* Перевод С. Гончаренко.

А что делали вы...
интеллектуалисты...
...лжеколдуны экзистенциализма...
...чем вы занимались,
когда тревога воцарилась...
Что делали? Бежали*.

Несколько месяцев назад одна школьница в письме попросила меня объяснить ей и ее классу стихотворение Неруды. Так как они знали, что́ сделал Неруда для мира на земле, они хотели также понять те места в его поэзии, которые оставались им неясными. Когда я прочла Неруде это письмо, он обрадовался, он понял главное в этом эпизоде. Не то, что дети не разобрались в нескольких стихотворных строках, а то, что школьный класс на другой половине земного шара, в Германской Демократической Республике, прилагает все силы, чтобы понять его до конца, ибо знает, кто есть Пабло Неруда.

1954

Памяти Вилли Бределя

Известие о том, что Вилли умер, вызвало в нас чувство протеста. Мы не хотели смириться с непоправимым, не хотели жить и обходиться без его голоса, его доброго совета, его остроумия. Мы хотели быть серьезными вместе с ним и радоваться вместе с ним.

Он принадлежал к тем людям, какие могут быть и очень серьезными и очень веселыми.

Он умел помочь людям разобраться в самых серьезных, самых суровых событиях и отвечал за это своим словом и своей жизнью. В то же время он мог веселиться, как мальчишка. Он пел наизусть целые оперы, когда у нас было настроение его слушать.

Таким он стал благодаря суровому опыту, который на

* Перевод О. Савига.

иных людей ложится лишь тяжким бременем. Только у немногих, к которым принадлежал и Вилли, этот опыт развивает сердечность и оптимизм.

Неизменным оставалось в нем то, что было присуще ему с самого начала,— надежность. Некоторые его особенности — проницательность, внимание к людям, веселость — с годами не убывали, напротив, он словно все молодел и молодел.

Мы были тогда еще очень молоды, когда впервые встретились с ним в годы Веймарской республики, и отнеслись друг к другу, пожалуй, слишком робко и недоверчиво. Это было на Александриненштрассе. Там ютилась редакция журнала «Линкскурве».

Но мы с Вилли в наше бурное время ехали в одном поезде, поэтому часто встречались на одних и тех же остановках.

Когда я увиделась с ним в Париже, у него за плечами уже было «Испытание» — и в книге, и в жизни. В Мадриде я увидела его на конгрессе писателей. Он был комиссаром батальона имени Тельмана.

Потом он вернулся в Советский Союз. Совсем неожиданно его имя встретилось мне во Франции — в час, когда все вокруг казалось особенно мрачным и беспросветным. Войска вермахта надвигались на Париж. Кто из наших друзей не сидел в тюрьме, за теми шпионили, тех преследовали. В одном из переполненных парижских кафе, в которых люди искали тогда прибежища, я встретила писателя Эрнста Вайса. В обычной жизни мы, наверное, остались бы чуждыми друг другу. Но в этот вечер Вайс вдруг заговорил о Вилли Бределе. Как участливо, как сердечно встретил его Бредель в Праге. Говорить о таком чистом, честном человеке, как Вилли, во времена засилья лжи и грязи было для него наслаждением, таким же наслаждением, как и для меня слушать.

Во время второй мировой войны мы с Бределем находились на разных континентах.

Но когда мы вновь встретились в Берлине,— он был одним из первых писателей-коммунистов, которых я увидела

здесь,— наш разговор начался так просто и был таким основательным, будто мы расстались только вчера. Мне кажется, он был даже откровеннее и насыщеннее, чем когда-либо раньше.

С тех пор у нас все чаще и чаще находились поводы для полезных и вместе с тем радостных споров. Бредель живо откликался на все, что волновало молодых и старых писателей, на все события окружающей жизни, на красоту искусства, красоту, которая помогает человеку в жизни. Он много читал; он умел читать. В некоторых его новеллах и романах явственно ощущается отзвук того, что произвело на него впечатление.

Бредель-писатель вышел из рабочего класса, и дары культуры не падали ему с неба, он завоевывал их с уважением, с изумлением, усиленной работой мысли, именно поэтому все завоеванное сплавилось в нем воедино с его собственным жизненным опытом. В Гамбурге, совсем еще молодым человеком, он начинал, как сказали бы сейчас, пишущим рабочим. А потом он стал работающим писателем, человеком, которого будут любить и уважать как за его творчество, так и за его жизнь.

1964

Брехт

Однажды Брехт сказал мне, что я не вправе ни единой строки написать небрежно. Я должна отвечать за каждую строку. Не только за ее смысл. За каждое ее слово, за каждую ее запятую. Нельзя ни одной строки оставить, не перепроверив ее еще и еще раз.

И это верно. Я, что бы я ни писала, всегда помню его совет. Но следую ему не всегда. Даже сейчас, когда пишу эти строки, я не следую его совету. Но Брехт единственный человек, который понял бы, почему я пишу о нем слишком коротко и слишком быстро. Он понял бы, что мне приходится

писать о нем между выполнением двух срочных работ. Ему по душе были слова: жизнь наша набита до отказа.

Не проходит дня, ни об одном событии не узнаю я, будь оно значительным или совсем неприметным, чтобы я не подумала: Брехту следовало бы об этом написать. И хоть оставил он после себя много страниц, я грущу, грущу, что над его гробом неудержимо течет наша кипучая жизнь, которую он уже больше никогда не изобразит. Я хочу спросить у него совета, а он мне больше не отвечает, я хочу восхититься им, а он больше не сердится, я хочу показать ему что-то необычайное, а он больше не удивляется, я хочу рассказать ему что-то веселое, а он больше не смеется. Он был поистине воплощенным «мы», целиком и полностью принадлежал к «нам». Очищая мозги от мусора. Участвуя в строительстве новой жизни. Вспоминаю, как однажды он сказал мне: «Не носитесь же вокруг дома, если хотите попасть в сад, мне не мешает, даже когда я работаю, если люди проскакивают через мою комнату».

Другого такого скромного человека, каким был он, больше нет.

1957

Эйнштейн в МАРШ'е

В предпоследние дни Веймарской республики я поехала в Капут, местечко у озера под Берлином, чтобы предложить Эйнштейну прочесть лекцию в Марксистской рабочей школе. Об этом попросил меня мой муж, он руководил школой.

Дом Эйнштейна расположен был в стороне от самого местечка, добраться до него можно было только сложным, извилистым путем. Был этот дом подарком города Берлина ученому, уже в ту пору пользовавшемуся мировой славой. Я вспомнила, что в магистрате сначала вспыхнул спор, следует ли чествовать Эйнштейна. «Прогрессисты» решительно требовали чествования, реакционеры не желали

ничего знать об этом человеке вместе с его теорией относительности и другими «странными новыми теориями» — кроме того, человек этот был евреем. «Прогрессисты» не уступили, но вышли из положения, чтобы никого не обидеть. Они подарили Эйнштейну этот участок, который трудно было разыскать и добраться до которого можно было только через всевозможные сады и луга.

Я немножко поплутала, но потом нашла вход. Какой значительной личностью был человек, которого я собиралась просить о лекции, я, правда, как и всякий другой, слышала, но я ничего не понимала в физике, и тем более в теории относительности. У меня в то время было двое маленьких детей, к тому же я по горло была занята сочинением всевозможных историй. Но я была уверена, что Эйнштейн примет наше предложение. Почему бы нет? Он умен, он стоит за все новое, передовое, и его тоже сильно донимает реакция.

С воодушевлением, которое рождает у человека такая уверенность, прежде всего у молодого человека, не встречавшего еще возражений, рассказала я Эйнштейну о МАРШ'е. Его внешний вид и встреча, какую он мне оказал, равно как и его комната,— все было столь простым, что в памяти у меня не осталось ничего примечательного. Эйнштейн слушал меня очень внимательно. Школа, в которой людям с заводов и фабрик, безработным и всем, кто не имел до того никакой возможности получить знания, разъясняли законы жизни, разъясняли самое существенное в науке и искусстве! Эйнштейн подумал, кивнул.

Его жена вмешалась, озабоченная, как все жены:

— Откажись! Ты же решил никогда больше не читать лекций.

Но Эйнштейн возразил:

— Это совсем особая лекция. Это меня интересует.

В конце концов он согласился прочесть эту лекцию.

Мы поговорили еще немного о том о сем. Может, о лесе и озере. Никаких серьезных вопросов — не могу их припомнить, чтобы нечаянно не соврать. Эйнштейн был в хорошем

настроении, с ним было легко. Он пригласил меня остаться у них на обед. Салат из огурцов он съел с удовольствием. Это я запомнила — рискуя, что меня высмеют. Его жена оказалась гостеприимной хозяйкой, любезной, как и ее муж. Возможно, позднее она его отругала.

1974

Воспоминания о Филиппе Шеффере

Теперь часто можно прочесть и услышать о Филиппе Шеффере, синологе в группе Шульце Бойзена. О его мужестве, его непоколебимости, о его первом и втором аресте. О том, как он был обезглавлен.

Французский поэт пишет: «Не опускайте ничего радостного, ничего своеобразного, когда хотите описать жизнь героя, дабы жизнь эта стала нам ближе, нам, далеко не героям».

Шеффер и я — мы познакомились в институте синологии Гейдельбергского университета. Его талант к восточноазиатским языкам показался мне удивительным. Моим предметом была история искусств, в частности, в то время — восточноазиатского искусства. Я считала, что научусь быстро расшифровывать надписи на древних китайских скульптурах. Так мы стали друзьями по университету.

Было все это в годы после первой мировой войны. Оккупация. Инфляция. Питание в студенческой столовой было скудным и скверным. Деньги, которые присылали нам наши семьи, превращались, пока доходили, в миллионные бумажки, начисто обесцененные. У Шеффера не было семьи, которая бы ему что-нибудь присылала. Во время войны его интернировали в России вместе с отцом, немецким служащим в Петербурге. Теперь Шеффер работал в каменоломне, чтобы заработать на занятия иностранными языками. Перед каждой вечеринкой он по нескольку часов держал в теплой мыльной воде руки, с которых была буквально содрана кожа.

Но он охотно принимал участие в вечеринках. Бывал

всегда уравновешенным, всегда в хорошем настроении.

Я и сейчас слышу его прибалтийский акцент, когда он, для себя и для меня одновременно, цитирует строки из китайского текста:

— «Давно уже не вижу я во сне императора Чжоу. Жизнь моя подходит к концу. Вот и все». Это одно из последних речений, высказанных будто бы Конфуцием,— поучал меня Шеффер.— Дух императора Чжоу был духом вдохновения.

Мы, Шеффер и я, не были приверженцами Конфуция с его феодальной государственной моралью, мы признавали Лаоцзы. Мы полагали, что понимаем, что имел в виду Лаоцзы под понятием «дао» и под своей основной концепцией «недеяния». Оригинал его трактата, если таковой имелся, был темен, а в переводе — еще более темен, но он освещался тем, что́ я понимала в этом трактате, или, точнее говоря, что извлекал из него Шеффер. В нашем институте никогда не заходила речь о современном Китае. Сведения о Сунь Ятсене и его «трех принципах» мы добывали самостоятельно. В газетах лишь время от времени появлялась строчка о борьбе китайских генералов за власть — все газеты были переполнены событиями в Германии и в Европе начала двадцатых годов. Мне думается, наш преподаватель синологии был офицером колониальных войск во время боксерского восстания в Китае и там изучил китайский язык. Он повесил на стене в институте карикатуру на Эрцбергера*, под которой китайскими иероглифами — Шеффер мне эту надпись перевел — было написано: «Сегодня его называют министром, прежде его называли грабителем народа».

Шеффер так изголодался, что я послала его к моим родителям, чтобы его немного подкормили. Вечерами он рассказывал им сотни историй о своих путешествиях и профессиях. Ему пришлось даже юнгой быть. Однажды наша служанка прибежала с криком:

* Эрцбергер Маттиас (1875—1921) — член германского правительства в октябре — ноябре 1918 г. В 1919—1920 гг.— министр финансов. Убит членами террористической организации «Консул».

— Он с ног до головы в татуировке!

Время от времени я уезжала в Кёльн, где занималась в Восточноазиатском музее. Кёльн в то время был занят англичанами. Комнату найти было очень трудно, и мне пришлось снять первую, какая подвернулась, хоть темную и грязную. Как-то раз я написала Шефферу: «Мне здесь страшно». Внезапно он является с револьвером, который одолжил ему друг. Но мне угрожали не разбойники и не солдаты — в квартире было полно мышей.

— Тогда, значит, не револьвер, а ромашка и опилки в каждую норку. Их мыши терпеть не могут.

Шеффер и в этом деле знал толк.

Мы в ту пору были беспечны, искренни. И готовы были по любой причине радоваться! Мы всегда находили чему радоваться, несмотря на чреватое опасностью время, несмотря на все бедствия.

Изящными китайскими иероглифами на шелковой бумаге Шеффер записал мне в подарок — по случаю получения мною степени доктора — одну из моих любимых сказок, «Расписная стена». Сказка эта взята из древнего китайского сборника. Сборник называется «Ляо Чжай чжи и» («Истории о чудесах, рассказанные Ляо Чжаем в рабочем кабинете»)*. Эти истории, написано в подзаголовке, говорят обо всем, о чем Мастер (имеется в виду Конфуций) не говорил. Мастер не говорил о демонах, духах и чудесах. Об этом, стало быть, идет речь в «Историях о чудесах».

Учась в университете, я вскоре познакомилась с эмигрантами, теми, кто из-за кровавой реакции и преследований кончал образование в Германии. Они открыли мне глаза на многие политические процессы, на классовую борьбу.

Вместе с нашими семьями мы, Шеффер и я, переехали в Берлин. Мы изредка встречались — его квартиру я не могу теперь вспомнить. Не могу вспомнить и когда он нашел место библиотекаря. Безработица была в ту пору истинным бедствием. СА и СС были одно время запрещены, но потом

* Автор этих историй — Пу Сун-Лин (1640—1715), выдающийся китайский новеллист, писавший под псевдонимом Ляо Чжай.

коричневые и черные пятна вновь появились среди населения.

Приход к власти Гитлера, нацистский режим ознаменовались пожаром рейхстага — и речью Димитрова перед имперским верховным судом.

И так как в беспокойные времена, бывает, не знаешь, не последний ли раз видишь друга, мы не простились с Шеффером.

В эмиграции я получила однажды письмо от тюремного пастора из каторжной тюрьмы в Луккау. Он просил меня прислать ему мой китайский словарь. Заключенный Филипп Шеффер будет этому словарю очень рад, словарь облегчит жизнь этому заключенному. Шеффера в 1935 г. приговорили к пяти годам за подготовку государственной измены.

Больше я не слышала ни слова ни об этом пасторе, ни о Шеффере. Кружными путями добрались мы потом до Мексики. Вернувшись после окончания войны в Берлин, я была почти уверена, что быстро отыщу Шеффера. Мною руководила уверенность, бессмысленная, как я скоро поняла, что Филипп Шеффер окажет мне помощь в этом разрушенном городе, среди сбитых с толку людей. Но я нигде не могла отыскать его след.

Как-то раз Гюнтер Вайзенборн случайно рассказал мне о процессе Шульце-Бойзена — Харнака*. Я наугад спросила его о Филиппе Шеффере и тут узнала, что нацисты его обезглавили.

Профессор Шеель — его камера была рядом с камерой Шеффера, и он мог изредка переговариваться с ним по трубе — рассказал мне, что Шеффер был совершенно спокоен и невозмутим.

Не знаю, вспоминал ли он, сидя в своей камере, что-нибудь из того, о чем я здесь написала.

1975

* Имеется в виду организация антифашистского Сопротивления, существовавшая в гитлеровской Германии с 1938 г.; раскрыта в 1942 г. Основные ее участники были казнены. Писатель Г. Вайзенборн и историк В. Шеель избежали смертной казни и в 1945 г. вышли на свободу.

Жолио-Кюри

К шестидесятилетию, исполняющемуся 13 марта

Он был простым, очень скромным человеком. Ему не нравилось, когда о нем много говорили, поэтому и сегодня я не буду этого делать. Я думаю, он завоевывал симпатии людей прежде всего той прямотой, с которой он делал, что говорил, и говорил, что делает,— в этом проявлялась неразрывная связь его научной работы со всем остальным в его жизни. Он часто заявлял, что любое открытие должно служить улучшению жизни и не должно становиться тайной, которая скрывается от народа из каких-то сомнительных соображений. Человек, который думает так, никогда не наденет маску, не станет лицемерить; и в обществе друзей он будет таким же, как на ораторской трибуне или в лаборатории.

Несколько лет назад, кажется, это было в Стокгольме, во время какого-то конгресса он сидел в маленькой комнатке со своими старыми и молодыми друзьями — борцами за мир. Чтобы прийти и сесть за его стол, не требовалось особого приглашения. Я обратила внимание на букет в центре стола: белые, довольно редкие для этой северной страны цветы, и случайно я узнала — у Жолио был день рождения. Даже этому он не придавал особого значения.

Слово взял тогда какой-то юноша. «В движении за мир,— сказал он,— я встретил людей, которые обладают самыми дорогими для меня чертами. Они мудры, добры и скромны». Ясно, конечно, что слова его относились к Жолио. Эти три свойства всегда были ему присущи.

После его смерти я на многих языках мира услышала сказанные в память о нем слова, лучше которых не смогла бы найти и в моем собственном языке: высокое сознание и знание — вот что объединилось в нем. Эти два слова не очень часто ставят рядом в одном предложении. Когда их слышишь на немецком — невольно задумываешься. Как будто наш собственный язык сам предугадал наступление нового, разумного мира, в котором эти два понятия будут

неразрывны: сознание и знание. Так же, как они были неразрывны в Жолио-Кюри.

1960

Илья Эренбург

Сколько я его помню, он всегда боролся за мир, против войны. По натуре своей он мягок и добр, любит книги, картины, песни и маленьких детей — все прекрасное и юное, и потому ненавидит то, что угрожает юному и прекрасному. Стоит ему почуять хоть малейшую угрозу всему этому, и он приходит в ярость. Эта чуткость развилась в нем с годами очень сильно, да иначе и не могло быть после всего того обмана, который пришлось ему пережить, после предательства всех человеческих ценностей, после бесчисленных злодеяний, совершенных фашистами в его стране.

Во время войны, находясь по ту сторону океана, на другом континенте, я встретилась с корреспондентом ТАСС, который виделся с Эренбургом в год, когда тот летал на самолете из одной партизанской зоны в другую, много читал там вслух и выступал с речами. Он писал сурово и резко, хотя он любил людей, а вернее, именно ради любви к людям сражался он за то, чтобы пришел конец варварству. Многие помнят еще, что из газет с его статьями солдаты Советской Армии никогда не делами самокруток.

И в то же время он был отзывчивым и добрым к настоящим немецким друзьям, к антифашистским писателям, когда они, гонимые и отчаявшиеся, искали у него совета и поддержки. Глаза его лучились для них особенным светом, светом искреннего человеческого сострадания, а если их боль удавалось развеять, то светом настоящего человеческого счастья.

Потом, когда Гитлер был разгромлен, он так же сурово и стойко, как защищал свою страну, стал защищать мир. Похоже, что время само плывет ему в руки, как золото

в сказках, потому что он успевает писать свои захватывающие романы, свои яростные статьи, свои раздумья о современном искусстве и о Франсуа Вийоне в самолетах, по пути с конгресса на конгресс, от континента к континенту.

У него можно поучиться тому, как нужно быть верным одному делу, как надо неустанно трудиться для торжества этого дела. Мало загореться раз, два или даже десять одной идеей, а затем угаснуть, словно потухший вулкан. Огонь твой должен гореть неугасимо, если ты хочешь увлечь за собой других людей.

Усталости он не знает. Единственное, что он позволяет себе,— это перед сном до глубокой ночи рассказывать сказки и легенды. Он никогда не сдается, не бросает начатого посреди дороги. На него всегда можно положиться. Себя он совершенно не щадит.

1961

Содержание

Зегерс А.

З 47 Неизвестные страницы: Повести, рассказы, эссе/ Пер. с нем. Сост. и предисл. Т. Мотылевой.— М.: Известия, 1987.— 160 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В книге представлена малая, еще не известная советскому читателю проза А. Зегерс: повести, рассказы, эссе, написанные в разные периоды жизни.

З $\frac{4703000000—038}{074(02)—87}$ 65—87 **ББК 84. 4 Ге И (Нем)**

АННА ЗЕГЕРС

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1102

Сдано в набор 12.05.86. Подписано в печать 11.11.86. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 1,3. Уч.-изд. л. 7,28. Тираж 50 000 экз. Зак. № 527. Цена 80 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

80 коп.



АННА ЗЕГЕРС (1900—1983) —
известная немецкая писательница (ГДР).
Член Коммунистической партии Германии
с 1928 г. Лауреат Международной
Ленинской премии (1951).
Основные романы: "Седьмой крест" (1942),
"Мертвые остаются молодыми" (1949),
"Решение" (1949), "Доверие" (1968).
Произведения писательницы изданы в СССР
общим тиражом около 4 млн. экз.
В сборник включены
повести, рассказы, эссе,
не известные советскому читателю.


Анна Зегерс · Неизвестные страницы
ИЛ